

Во дни благополучия
Пользуйся благом,
А во дни несчастья –
Размышляй.

Книга Экклезиаста

К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый читатель! Книга, которую Вы раскрыли, никак не может быть названа научно-публицистическим дебютом автора, но, скорее, очередным промежуточным финишем на дистанции длиной в жизнь. Не считая книг, подготовленных в соавторстве, этой работе предшествовали следующие крупные авторские публикации:

Куда несет нас рок событий. Политологическая публицистика 1990—1995 гг. М.: “Логос” ВОС.— 1995.

Образование. Революция. Закон. Проблема законодательного обеспечения российской государственной образовательной политики 90-х годов. Часть I. Новейшая революция в России. Опыт политико-ситуационного анализа.— М.: ООО “ИПТК “Логос” ВОС”, 1999.

Три трагедии российской демократии. Систематизированный сборник.— М.: ООО “ИПТК “Логос” ВОС”, 1999.

Знание — свобода. Российская государственная образовательная политика и федеральное законодательство 90-х годов. Систематизированный сборник.— М.: ООО “ИПТК “Логос” ВОС”, 1999.

Подобно трём из четырёх названных здесь книг, эта работа, во-первых, не написана специально, но составлена из материалов, частью опубликованных в омской региональной печати либо в центральных малотиражных изданиях (общее количество таких публикаций превысило 250), частью же сохранившихся в личном авторском архиве.

Во-вторых, для нашего времени подобные книги скорее исключение, чем правило. В отличие от своих предшественников, склонных к многотомным изданиям речей и статей, абсолютное большинство известных политических лидеров постсоветского периода не только обществу, но и самим себе предпочитали не напоминать в конце 80-х годов, о чём говорили в их начале, а в начале XXI века не любят вспоминать о том, что делали в начале последнего десятилетия века XX.

Если бы какому-нибудь издателю пришла в голову верноподданническая мысль выпустить в свет полное собрание сочинений ведущих отечественных политиков, скажем, за 1985—2000 годы (например, “Ельцинским курсом”) или хотя бы “цитатники” их высказываний по определенным проблемам, едва ли кто-нибудь из издаваемых авторов возблагодарил бы такого издателя за подобную книгу. Скорее наоборот: её сочли бы “медвежьей услугой” либо политической провокацией, ибо лозунги вождей менялись с голово-кружительной быстротой, а их политическое поведение вполне соответствовало бытовому принципу: “Обещать — не значит жениться”. Что касается народа, страдающего в подобные эпохи “синдромом девичьей памяти”, то его политическое поведение, как уже не раз приходилось писать, вполне укладывается в известную формулу поэта: Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.

Автор в очередной раз решился нарушить “табу” “смутного времени” не только потому, что его позиция по ключевым вопросам за последние 12 лет существенно не менялась, но главным образом для того, чтобы ещё раз напомнить обществу о том, чего оно хотело, начиная борьбу за собственное обновление, и к чему в конце концов пришло.

В-третьих, подобно всем другим книгам автора, “Излом...” — это отражение настроений не отдельного человека, но целой общественной группы, которую можно было бы охарактеризовать как часть российской интеллигенции, сохранившую левые и демократические ориентации (на Западе иногда употребляют термин “несталинистские левые”). Эта группа на первом этапе поддержала реформы М. Горбачёва, однако быстро убедилась в его неспособности к чему-либо, кроме благих порывов, и оказалась в жёсткой оппозиции Б. Ельцину и его “команде” вскоре после их прихода к власти.

В-четвёртых, подобно своим предшественницам, эта книга может служить пособием для изучающих российский политический процесс конца XX века, включая борьбу демократических и авторитарных тенденций в развитии политической системы и различных направлений в образовательной политике.

Вместе с тем эта книга в целом ряде отношений отличается от предыдущих.

Первое. Поскольку объём и характер работы не позволяют опубликовать все материалы по каждой из тем, обозначенных в её подзаголовке, автору приходилось производить отбор этих материалов на основе их политической значимости и теоретического содержания. Предпочтение при этом отдавалось последнему критерию. Именно поэтому в работу включены три из пяти основных разделов докторской диссертации, выполненной в виде научного доклада, а также почти целиком монография “Образование. Революция. Закон”, посвященная исследованию характера политического процесса в современной России.

Второе. Подобно большинству предшественниц, эта работа может рассматриваться как своеобразный отчёт автора перед читателями (и избирателями), однако в данном случае это отчёт не столько политический, сколько научный, а потому и адресован он прежде всего научному и образовательному сообществу, а также всем, кто интересуется современной политикой.

Третье. Хотя, как и в случаях трёх предыдущих книг, читателю предлагается систематизированный сборник, в данном случае он посвящён не одной, но всем основным проблемам, входящим в круг интересов автора, а потому имеет и более сложную структуру.

Книга открывается специальным разделом, посвящённым проблемам методологии. При этом основное внимание уделено специально разработанному методу политико-ситуационного анализа, который резко отличает работы автора от подавляющего большинства современных публикаций по политическим проблемам.

В огромной массе концептуальных интерпретаций того, что происходило и происходит в России (или с Россией), отчетливо выделяются две наиболее распространенные линии, одновременно выступающие и границами спектра мнений. Одно объяснение состоит в том, что все произошло так, как должно было происходить, было заранее предопределено тем или иным набором факторов и иначе быть не могло. Как ни странно, такое объяснение принадлежит радикально-либеральным сторонникам индивидуальной свободы! Другое объяснение сводит главные причины исторической драмы к субъективным факторам: к так называемому предательству “верхушки КПСС” либо к заговору тех или иных международных сил. Такая позиция (что не менее парадоксально, чем первое) разделяется в основном людьми, считающими (или ещё совсем недавно считавшими) себя марксистами, т. е. сторонниками интерпретации истории как естественно-исторического процесса. Впрочем, мы еще не один десяток раз увидим, как в российских условиях эти политические и идеологические противоположности менялись местами.

Напротив, автор этих строк видит свою задачу в том, чтобы показать, как законы исторических ситуаций (в данном случае — законы революции, сознательно или бессознательно “запущенные”) предопределили ход событий, как объективная логика революционного развития подчиняла себе политических лидеров, которые сплошь и рядом оказывались в положении литературного героя, выпустившего джина из бутылки и не способного с ним справиться.

Уверен: эвристические возможности политико-ситуационного анализа как метода исследования и прог-нозирования новейших российских политических трансформаций далеко не исчерпаны. Именно его использование позволило автору, с одной стороны, дать гораздо более основательное, чем официальная социальная и историческая наука, понимание этих процессов, а с другой — объяснить, почему научные парадигмы и теоретико-политические модели, успешно применявшиеся в других странах, дали в России в этот период прямо противоположные результаты, а сама она стала пользоваться заслуженной репутацией “кладбища методологий”.

Второй и третий разделы книги посвящены, соответственно, концептуальному и историко-хронологическому исследованию новейшей российской революции. Раздел охватывает почти исключительно главы из книги “Образование. Революция. Закон”, причем некоторые из них “освежены” новым статистическим материалом, а периодизация российских радикальных трансформаций доведена до 2001 года. Помимо катастрофы, в качестве ситуационно-типологических характеристик любой социально-политической революции нового и новейшего времени автор рассматривает глобальное отрицание, всеобщий конфликт, аномию, “праздник”, мифологизацию массового сознания и смену политических элит. На взгляд автора, система этих параметров характеризует только данный тип исторических ситуаций, и никакой другой. При этом все названные параметры с теми или иными модификациями без труда обнаруживаются в эпоху так называемых российских реформ, что и позволяет характеризовать первую половину 90-х годов в качестве периода революции.

Кстати сказать, если в период правления Б. Н. Ельцина правящие политические круги и заказная социальная наука старались избежать термина “революция”, то в последнее время он всё чаще проникает в официальные издания и документы, в т. ч. президентского уровня.

В четвёртый раздел книги включены публикации, в которых анализируются проявления демократических и авторитарных тенденций в российском социально-политическом процессе. Помимо теоретических работ, в раздел вошли и публицистические материалы, причём большая их часть чётко подразделяется на две основные группы, посвящённые, соответственно, использованию плебисцитарной демократии в качестве главного механизма эскалации авторитаризма и свёртыванию представительной демократии в процессе формирования суперпрезидентской системы. Именно эти процессы, а также крушение проектов создания новых политических движений левой и социальной ориентации в России автор характеризовал в своё время в качестве трёх трагедий российской демократии. Последняя тема, однако, осталась за рамками данной книги.

Пятый раздел книги охватывает вопросы образовательной политики, однако, преимущественно, в одном из её аспектов — с точки зрения борьбы в ней реформистских и революционно-разрушительных тенденций. Многие десятки авторских работ, посвящённых иным проблемам развития образования (и прежде всего законодательству в этой области), в книгу не включены. Наиболее полно они представлены в систематизированном сборнике “Знание — свобода”.

В целом за последние 15 лет страна пережила четыре волны, четыре попытки проведения реформ или псевдореформ в сфере образования, причём три последние стали объектами политической борьбы.

1. Конец 80-х годов. В этот период свободу творчества педагоги уже получили, а деньги у образования ещё не отобрали. Главная особенность периода — взлёт “педагогике сотрудничества” — безусловно заслуживает положительной оценки.

2. Первая половина 90-х годов. В правительственных документах появляются две ключевые идеи революционного разрушения системы образования под лозунгом её реформирования: приватизация образовательных учреждений и введение образовательных ваучеров. На фоне “переидеологизации” образования свобода педагогического творчества отчасти сохранялась, однако финансирование резко сократилось.

3. 1997—1998 годы — так называемый очередной этап реформирования образования. Ключевые революционно-разрушительные идеи модифицируются: приватизацию предлагается ограничить высшими учебными заведениями, а вместо прямой ваучеризации ввести в системе образования принцип “Деньги следуют за учеником”. Главная идея этапа — попытка решения финансовых проблем образования за счёт изменения механизмов его финансирования при сокращении или неувеличении государственных средств — не выдерживает никакой критики.

4. Весна—лето 2000 — по настоящее время. Идея приватизации образовательных учреждений модифицируется в предложение об изменении их статуса, а образовательный ваучер — в государственное именованное финансовое обязательство. При общей отрицательной оценке того и другого следует иметь в виду, что под давлением общественности и парламентских комитетов обе правительственные стратегемы уже подверглись существенному изменению (скорее даже размыванию) и, вполне возможно, в недалёком будущем “почиют в бозе”.

Шестой, а также заключительный разделы книги посвящены проблемам политического прогнозирования в условиях социальных бифуркаций. Однако если в первом случае речь идёт о бифуркации специфически российской и, соответственно, о сценарно-прогностическом анализе возможных моделей развития России, произведенном в начале 90-х годов, то во втором случае — о бифуркации, которую переживает всё человечество, а следовательно, о перспективах цивилизации, месте в ней России, в т. ч. о доктринальных основах стратегии развития образования как ключевого фактора перехода к информационному обществу.

Хорошо осознавая, что в социогуманитарных науках прогнозирование имеет преимущественно вероятностный характер, полагаю тем не менее, что можно с уверенностью говорить о высокой продуктивности применяемой методологии политико-ситуационного анализа, поскольку прогнозы развития России, сделанные на рубеже 80—90-х годов, к сожалению, в высокой степени подтвердились. Увы, радости это не принесло, ибо удовлетворение специалиста, сделавшего правильный прогноз и тем самым подтвердившего свою квалификацию, не сопоставимо с тревогами гражданина, желающего своему Отечеству совсем иного настоящего и будущего. Поэтому на многочисленные вопросы о том, как чувствует себя действующий политик в роли Кассандры, всегда приходилось отвечать приблизительно одно и то же: “Как специалист я обязан говорить правду и не могу рекомендовать соотечественникам в качестве кардинального средства от всех социальных бед розовые очки; но как политик и гражданин я для того и работаю, чтобы хотя бы отчасти опровергнуть собственные прогнозы”.

В седьмой раздел книги включены публикации, анализирующие последний период отечественной

истории — период стабилизации и реформирования постреволюционного режима. Произведя объективный анализ политики нового российского Президента, легко показать, что надежды, которые связывает с ним часть левопатриотической оппозиции, ещё менее обоснованны, чем критический “информационный шум”, создаваемый правой печатью. Суть политики бонапартизма, которую Президент проводил до весны 2001 года и элементы которой сохранились в настоящее время, предельно проста: некоторые символические жесты — для успокоения левых и вообще старшего поколения (музыка гимна, возвращение красного знамени российской Армии, отказ от выноса тела Ленина из Мавзолея) при реанимации радикально-либерального экономического курса в духе Ельцина — Гайдара. Суть этого курса в равной степени можно было бы выразить формулами: “Экономика против человека” либо “Попытка выхода из катастрофы за счёт бед-ных”. В принципе мы имеем тот самый праволиберальный политический режим с национально-государст-веннической окраской, появление которого было предсказано в статьях, публикуемых в шестом разделе настоящей книги.

Рискуя репутацией специалиста, прогнозы которого обычно сбываются, повторю ещё раз: при продолжении данного курса факторы, обеспечивающие относительно быстрый рост экономики, скоро исчерпаются, социальное неравенство ещё более возрастет, а международное влияние в лучшем случае останется на нынешнем уровне. Однако действующий Президент сохранит свои полномочия по меньшей мере два срока, а новый курс в духе Рузвельта — де Голля станет возможен лишь при его преемнике. Лет через 7—10 читатель сможет проверить, насколько достоверен этот прогноз, как сейчас, прочитав эту книгу, он может убедиться в том, что осуществились прогнозы предыдущие. Как бы я желал ошибиться хотя бы в этот раз!

Олег Смолин

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ПОЛИГОН ИЛИ “КЛАДБИЩЕ” МЕТОДОЛОГИЙ?

(Политико-ситуационный анализ как метод исследования радикальных трансформаций)

Не плакать, не смеяться, а понимать.

Спиноза

Образование. Революция. Закон. Проблема законодательного обеспечения российской государственной образовательной политики 90-х годов. Часть I. Новейшая революция в России. Опыт политико-ситуационного анализа.— М.: ООО “ИПТК “Логос” ВОС”, 1999

ГЛАВА I. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. “Кладбище” методологий

Рассуждения о том, что в XX в. Россия оказалась жертвой грандиозных социальных экспериментов, стали едва ли не общим местом в речах политиков, публицистике, да и научной литературе. При этом теоретики и публицисты праволиберальной ориентации под “экспериментом” понимают Октябрьскую революцию и последующий советский период, тогда как политики и идеологи левопатриотической ориентации — либеральные “реформы” 90-х гг. В обоих случаях подразумевается, что названные события прервали процесс “органического” развития страны и навязали ей “искусственные” сценарии, разработанные на основе определенной методологии, подчинили ход истории тем или иным теоретическим схемам.

Было бы неверным утверждать, что в рассуждениях подобного рода истина “и не ночевала”. Об опасности механического переноса на российскую (тогда еще советскую) почву институтов и представлений, выработанных в условиях иной культуры, в конце 80-х гг. многократно предупреждали зарубежные ученые, специализирующиеся на исследовании российских проблем, хотя это и не удержало противников “коммунистического эксперимента” от проведения “эксперимента

либерального”. В свою очередь не потерявшие голову российские теоретики, когда представлялся случай, пытались убедить зарубежных политиков в том же, в чем наиболее дальновидные теоретики из индустриально развитых стран убеждали политиков российских. Но, увы, почти с тем же успехом. Вот лишь один пример — отрывок из выступления автора этой книги на заседании Комитета по экономике, науке и технологии Межпарламентской ассамблеи СБСЕ (Вена, июль 1994 г.). Кстати, предупредим читателя, что подобный прием в этой книге, отражающей не только теоретические размышления, но и практические действия политика, будет применяться довольно часто.

“В порядке дискуссии хотел бы заметить уважаемым коллегам-парламентариям, что попытки предлагать России пути выхода из кризиса, основанные на традиционных теоретических схемах, пусть даже и апробированные в других условиях, имеют крайне незначительные шансы на успех. Об этом свидетельствует весь наш российский исторический опыт XX века.

Во-первых,— и об этом здесь много говорили,— в советскую эпоху Россия опровергла теоретические схемы ортодоксального коммунизма.

Во-вторых,— и это известно не всем,— в постсоветскую эпоху Россия успела уже опровергнуть формулы ортодоксального антикоммунизма. Например, формулу господина Черчилля, согласно которой капитализм — это неравное распределение блаженства, а социализм — равное распределение убожества. Наш отечественный капитализм для большинства населения оказался неравным распределением убожества! Неравенство в России растет еще быстрее бедности; оба эти процесса взаимно обуславливают и усиливают друг друга.

В-третьих, к большому сожалению, мы, похоже, опровергаем классическую теорию конвергенцию в том позитивном варианте, который предлагал Джон Гэлбрейт или Андрей Сахаров. В России действительно происходит некоторая гибридизация систем (общественно-плановой и частно-рыночной), однако вместо того, чтобы объединить их достоинства, мы успешно синтезируем пороки.

Наконец, в-четвертых, Россия успела уже опровергнуть схемы ортодоксального неолиберализма. Согласно этим схемам, главное лекарство от бюрократии — это приватизация; чем больше частной собственности, тем меньше бюрократии, и наоборот. Однако в России в последние два с половиной года обвальная приватизация сочетается со столь же обвальная бюрократизацией, хотя в последнем Советский Союз от Запада отнюдь не отставал. Думаю, Россия должна быть благодарна тем зарубежным экспертам, главным образом лейбористской и социал-демократической ориентации, которые предупреждали нас о неизбежном провале применения “шоковой терапии” в такой стране, как наша. И не только в силу национальной ментальности, но и по причинам экономико-географического характера.

Весь мировой опыт доказывает, что “шоковая терапия” может быть успешной — хотя и это не гарантировано — только в небольшой стране с экспортной моделью экономики. Кажется, единственной из таких стран в Европе последних лет стала Чехия. Напротив, основой экономики крупной страны типа Соединенных Штатов или России может быть лишь производство, ориентированное на внутренний рынок. Я поддерживаю идею... о необходимости обеспечения приемлемого жизненного уровня населения в условиях переходного периода, но хотел бы подчеркнуть: для нас это задача не только социальной политики, но и императив экономического выживания. Иначе экономику из порочного круга, когда спад производства и рост бедности взаимно обуславливают друг друга,— из этого порочного круга без активной социальной политики нам экономически не вывести.

Если российский опыт и подтвердил какие-то теоретические конструкции, то, пожалуй, две. Во-первых, это известные законы Паркинсона о неуничтожимости бюрократии. Во-вторых, это давняя идея умеренных политических мыслителей о том, что несовершенные реформы лучше совершенной революции” (Смолин О. Н. Куда несет нас рок событий. Политологическая публицистика 1990—1995 гг.— М.: ИПТК “Логос” ВОС, 1995.— С.101—103).

Разумеется, выступление на международном парламентском форуме — не то же самое, что научный доклад. Количество научных парадигм и методологий социогуманитарного исследования, для испытания которых Россия XX в. в той или иной мере стала полигоном, можно без труда умножить, а их анализ безусловно заслуживает большей глубины и специальных работ. В данном случае наша задача ограничивается ясной постановкой следующего вопроса: какова главная причина того, что в XX в. российский “испытательный полигон” регулярно оказывается вместе с тем и “кладбищем” методологий, причем нередко признанных самыми передовыми для своего времени, местом их крушения? Заключена ли эта главная причина в принципиальной ошибочности перенесенных теоретических концепций, в их неприменимости к специфическим российским условиям или же в иных обстоятельствах?

Попытки автора ответить на этот, как и на многие другие, вопрос, будут представлены ниже. Не разделяя постмодернистских концепций, а равно и эклектической теории факторов, здесь лишь стоит заметить, что степень прикладной эффективности той или иной методологии зависит не только от характера исследуемых процессов (социальных, межличностных, внутриличностных) и не только от их цивилизационных параметров (тенденции развития человечества в целом, определенного региона или группы стран, культурно-историческая специфика отдельной страны, например, России), но и от временного масштаба исследования (всемирная история как целое, историческая эпоха, историческая ситуация). Забегая вперед, можно высказать предположение, что помимо ограниченности возможностей самого социогуманитарного познания, предопределенной его объектом, помимо культурно-исторической специфики России, важной причиной, детерминировавшей неудачу применения в XX в. различных политических рецептов, основанных на соответствующих научных методологиях, стали специфические условия и закономерности исторических ситуаций, в которых эти рецепты и методологии применялись, и, в частности, условия и закономерности такой уникальной исторической ситуации, как революция. Следовательно, даже те методологии, которые, казалось бы, не оправдали себя в России XX в., не следует просто отбрасывать как исторический анахронизм, но тщательно верифицировать и корректировать ситуационным анализом.

2. Макс Вебер или Карл Маркс?

В принципе возможны два теоретических подхода к исследованию и периодизации исторического процесса вообще, незавершенного исторического процесса — в особенности. Первый состоит в том, чтобы, руководствуясь упрощенно трактуемым принципом веберовской “понимающей социологии”: “человек сам знает, чего он хочет”, а, может быть, и не подозревая, что “говоришь прозой”, довериться сознанию эпохи, господствующим стереотипам и принять на веру ее самохарактеристики, отыскивая в них рациональный смысл. Именно таким путем идут в настоящее время, пожалуй, большинство авторов, пишущих на современные темы, причем не только публицистов, но и теоретиков, не только сторонников нынешнего политического курса, но и представителей оппозиции, выделяющих от Горбачева до Ельцина три основных этапа развития советского, а затем российского общества начиная с 1985 г.: 1. Ускорение; 2. Перестройка; 3. Реформы.

Сторонники второго подхода вместе с Марксом (впрочем, не только с ним) полагают, что как отдельному человеку, так и целой эпохе нельзя верить на слово в том, что сама она о себе говорит (Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 13.— С. 7).

Первый подход предполагает доверие к обыденному сознанию, второй — к теоретическому. При поверхностной интерпретации первый подход может приводить к упрощенным умозаключениям, фиксирующим очевидное, явление; второй — к конструированию сущности столь высокого порядка, что связь ее с явлением может оказаться утраченной и в этом случае она превращается даже не в идеализированный объект, но в самодовлеющую логическую схему, которая, возможно, отвечает эйнштейновскому принципу красоты, но удаляется от непосредственной действительности, как небо от земли.

Не закрывая глаза на все сказанное, автор решительно предпочитает второй подход не только по принципиальным методологическим соображениям, но и с учетом исследовательских задач. Как известно, Макс Вебер полагал, что изучение объективных последствий человеческой деятельности вообще не является социологической проблемой (Вебер М. Избранные произведения / Предисловие Гайденок П. П.— М.: Прогресс, 1990.— С. 18).

Напротив, марксисты не просто видели в этом одну из главных задач социальной философии, что выражено в концепции естественно-исторического процесса, но и пытались предложить конкретное решение этой задачи. Вспомним хотя бы некогда хрестоматийные, а ныне прочно забытые рассуждения Энгельса в работе “Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии” на тему о том, как усилия различных общественных групп обеспечивают движение социальной системы по диагонали параллелограмма, сторонами которого являются направления этих усилий. Причем правило “параллелограмма” многократно осложнено количеством групп и неравенством их сил и в конце концов приводит к результату, не совпадающему полностью с первоначальными намерениями ни одного из субъектов социального действия (Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 21.— С. 306).

Как будет показано ниже, это несовпадение особенно ярко проявляется и даже доходит до

противоположности именно в переломные моменты человеческой истории, каковой в последнее десятилетие переживает Россия. Российский экс-премьер В. Черномырдин, вне зависимости от результатов деятельности, уже вошел в политическую историю страны хотя бы в силу шести лет занимаемого им поста. Однако он вряд ли вошел бы в ее интеллектуальную историю, если бы не знаменитая фраза: “Хотели, как лучше, а получилось — как всегда”! Фраза, которая выразила суть революционных процессов и судьбу революционеров, может быть, глубже, чем предполагал ее автор.

Да, читатель, автор этой книги полагает и в дальнейшем попытается доказать, что радикальная трансформация российского (и не только российского) общества, официально называемая реформами, на самом деле имеет революционный характер. Революции же отличаются тем, что разрушают прежние иллюзии с той же скоростью, с какой создают новые. В таких условиях верить новым идеологам на слово — значит заведомо отказываться от поиска научной истины и плыть по течению, объявляя “все действительное — разумным” и единственно возможным либо повторяя при каждом неблагоприятном повороте колеса фортуны: ведь хотели же как лучше...

В противоположность этому попытка проникнуть сквозь старые и новые идеологемы в действительный смысл событий путем анализа объективных последствий человеческих действий связана с повышенным риском (о том, почему это так, речь пойдет ниже). Однако представляется, что такой подход гораздо больше отвечает гносеологической, да и прикладной функции социогуманитарных наук, а потому автор намерен руководствоваться им в дальнейшем.

3. Парадоксальность в квадрате

В российском общественном сознании стало едва ли не общим местом мнение о том, что отечественная социальная реальность — реальность особого рода, которая изобилует парадоксами. Об этом писали все: от П. Я. Чаадаева до Н. А. Бердяева и от А. И. Герцена до теоретиков большевизма.

Хрестоматийно известной, например, правда, обычно в пересказе, стала следующая мысль П. Я. Чаадаева: “Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей — годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. И, конечно, не пройдет без следа то наставление, которое суждено нам дать, но кто знает день, когда мы найдем себя среди человечества, и кто исчислит те бедствия, которые мы испытываем до свершения наших судеб” (Чаадаев П. Я. Философские письма. Письмо первое // Соч.— М., 1989.— С. 21—22). Менее известно, что беды отечественной цивилизации Чаадаев связывал с ее промежуточным положением, с тем, что она не принадлежит ни к Западу, ни к Востоку, и прежде всего с наследием Византии. “По воле роковой судьбы,— продолжает он свою мысль,— мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих” (т. е. западных) “народов” (Чаадаев П. Я. Философские письма. Письмо первое // Соч.— М., 1989.— С. 26).

Справедливости ради надо заметить, что парадоксальность отличает реальность любого общества, в котором происходит революция, т. е. коренная ломка прежней общественной (социетальной) системы и замена ее новой. Не случайно одни теоретики характеризуют революции как “локомотивы истории”, “праздник для угнетенных” и т. п., а другие — как “рок”, “кару” или “бич божий”, причем нельзя сказать, чтобы обе стороны были целиком не правы. Революция по самой своей природе — это исторический акт, в котором противоречия развития общественной системы достигают своей кульминации, а антагонизм социального прогресса проявляется наиболее ярко. Поскольку же отечественная история в XX в., как никакая другая, быть может, богата революциями (их количество в единицу времени сопоставимо, пожалуй, лишь с историей Франции конца XVIII—XIX вв.), парадоксальность отечественного развития возводится едва ли не в квадрат и затрагивает практически все сферы жизни общества.

Подобно тому, как П. Я. Чаадаев выводил противоречия российской истории из национальной ментальности, современные культурологи и специалисты в области других наук стремятся объяснить ею же (ментальностью) российскую склонность к революционным методам разрешения проблем. Так, один из крупнейших специалистов по истории и теории культуры, сторонник семиотического подхода к ней Ю. М. Лотман замечает: “Идея самостоятельности экономического развития в Западной Европе органически связывалась с постепенным развитием во времени, с отказом от “подстегивания истории”. В наших условиях этот же лозунг отягощен идеей государственного вмешательства и

мгновенного преодоления пространства истории в самые сжатые сроки... Даже постепенное развитие мы хотим осуществить, применяя технику взрыва. Это...— суровый диктат бинарной исторической культуры” (Лотман Ю. М. Культура и взрыв.— М.: Гносис, издательская группа “Прогресс”, 1992.— С. 270).

Не подвергая сомнению справедливость подобного утверждения, хотелось бы заметить вместе с тем, что сама отечественная ментальность (“бинарная культура”) во многом сформировалась под действием катастроф, включая войны и революции. Следовательно, путь выхода из логического круга лежит через поиск тех социально-исторических причин, которые обусловили одновременно и обилие революций, и соответствующий национальный менталитет. Кроме того, как будет показано в дальнейшем, сами революционные условия столь жестко диктуют массам и политическим лидерам линию поведения, что влияние культурных традиций сказывается скорее на форме проявления, чем на содержании процесса, на флуктуациях, нежели на общем направлении и т. п. Поэтому, продолжая мысль предыдущего подраздела, повторим еще раз: когда речь идет о политических революциях, социокультурный детерминизм может быть продуктивен скорее в историческом исследовании, нежели в исследовании политологическом и философском. Следовательно, отдавая дань уважения этой методологии, вряд ли целесообразно в подобных случаях использовать ее в качестве основной.

4. Реформа, называемая революцией,

Социально-политический процесс в Советском Союзе, а затем в Российской Федерации четко подразделяется на три основных этапа. Политическим водоразделом первых двух является так называемый “путч” 19—21 августа 1991 г.

Первый, реформистский, этап — апрель — май 1985 — август 1991 г.; второй, революционный, этап — август 1991 г. по август 1996 г.; третий, постреволюционный, этап — с августа 1996 г. по настоящее время. В этой книге мы многократно столкнемся с описанием противоречий и парадоксов российской действительности, но один из них нельзя не отметить уже сейчас. Этот парадокс состоит в том, что, по крайней мере, с 1988 г. не только политические лидеры во главе с М. Горбачевым, но и крупные ученые типа Т. Заславской называли перестройку революцией (Наращивать интеллектуальный потенциал перестройки. Выступление М. С. Горбачева на встрече с деятелями науки и культуры // Правда.— 1989.— 9 янв.). При этом ученые-обществоведы, в отличие от политиков, стремились к солидной теоретической аргументации посредством типологизации революций и, в частности, различения революций межформационных и внутриформационных (Коренной вопрос перестройки. Беседа с академиком Т. Заславской, президентом Советской социологической ассоциации // Известия.— 1988.— 4 июня.— № 156).

Подобная типология теоретически вполне возможна и могла бы оказаться истинной, если бы интенция исторического процесса действительно состояла, как предполагали в то время, в переходе Советского Союза к новой модели социализма, а не в отказе от любой его модели.

Напротив, с конца 1991 г., когда процесс действительно приобрел революционный характер, его стали именовать “реформами” или “радикальными реформами”, всячески избегая термина “революция”. О необходимости продолжить курс реформ, углубить его, перейти к новому этапу реформирования и тому подобное постоянно говорили Президент Российской Федерации и так называемые молодые реформаторы в Правительстве. Таким образом,— и в этом заключается еще одна грань рассматриваемого парадокса,— пришедшая к власти обновленная политическая элита выдвинула одновременно два логически несовместимых тезиса: о нереформируемости коммунистической системы и о необходимости и безальтернативности проведения в России радикальных реформ! Не менее показательным, что общественное сознание приняло этот логический абсурд как должное. В свою очередь лидеры Народно-патриотического союза и КПРФ, принимая предложенные правила игры и сложившуюся терминологию, говорят о “пагубности нынешнего курса реформ”, о необходимости “изменить курс реформ” и т. п. Похоже, сила массового внушения такова, что стереотипы внедряются на уровне “коллективного бессознательного” нации.

Впрочем, это правило, как и большинство других, предполагает исключения, причем двоякого рода. Первое исключение составляют события нескольких дней в двадцатых числах августа 1991 г., окрещенные “революцией с лицом Ростроповича” (русский аналог термина “бархатные революции”, обозначающего однотипные политические процессы в Западной Европе конца 80-х гг.). Другого рода исключения составляют сравнительно немногочисленные (точнее, мало тиражируемые и рекламируемые) публикации теоретиков и политиков по преимуществу оппозиционных направлений, в которых события 90-х гг. прямо именуются новой революцией (см., например: Бабурин С. Сегодня

действительно идет вторая революция. Вторая попытка уничтожить великую Россию // Московские новости.— 1992.— № 6.— 9 февр.— С.11; Бабурин С. Н. Российский путь.— М.: АНКО, 1995.— С. 59).

Объяснение парадокса следует искать, главным образом, в причинах идеологического характера.

Во-первых, политическое руководство СССР во главе с М. Горбачевым долгое время стремилось подчеркнуть преемственность своей деятельности идеалам Октябрьской революции, очищенным от наслоений сталинизма и брежневской системы. Иными словами, реформисты не прочь были именоваться революционерами, продолжателями дела Октября. Так, например, в докладе М. Горбачева “Октябрь и перестройка” читаем: “Перестройка — не только избавление от застойности и консерватизма предшествующего периода, исправление допущенных ошибок, но и преодоление исторически ограниченных, изживших себя черт общественной организации и методов работы. Это придание социализму самых современных форм, соответствующих условиям и потребностям научно-технической революции, интеллектуальному прогрессу советского общества. Это сравнительно длительный процесс революционного обновления общества, имеющий свою логику и этапы” (Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается.— М.: Политиздат, 1987.— С. 31).

Кстати сказать, такая позиция соответствовала общественному мнению широких слоев интеллигенции. И хотя сейчас об этом стараются не вспоминать, революционная романтика, антисталинские, антибюрократические настроения, соответствующие неоленинскому направлению в политике, отразились не только в художественной публицистике (например, в пьесах Михаила Шатрова), но и в лирике выдающихся поэтов. Вспомним хотя бы Булата Окуджаву (Окуджава Б. Сентиментальный марш // Песни Булата Окуджавы.— М.: Музыка, 1989.— С. 75):

И если вдруг когда-нибудь
Мне уберечься не удастся,
Какое б новое сраженье
Ни пошатнуло шар земной,
Я все равно паду на той,
На той, единственной гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.

Напротив, российское политическое руководство во главе с Б. Ельциным, особенно в 1991—1993 гг., стремилось отмежеваться от советского прошлого, снять с себя, как выразался Президент России, “красный пиджак”, а потому и слышать не хотело о каких бы то ни было аналогиях и параллелях между событиями 1917—1921 гг. и 90-х гг.

Во-вторых, политико-идеологическая группа М. Горбачева стремилась акцентировать новизну целей своей деятельности, дать им четкие идеологические наименования (например, “революционное обновление социализма”), тогда как политико-идеологическая группа Б. Ельцина на протяжении нескольких лет этих целей либо не осознавала, либо стремилась избегать их прокламирования в идеологической форме. Достаточно напомнить, что еще в 1992 г. Президент заявлял: “Главное, что я хочу сказать тем, кто повсюду кричит, будто Россия идет к капитализму: ни к какому капитализму мы Россию не ведем. Россия к этому просто не способна. Россия — уникальная страна: она не будет ни в социализме, ни в капитализме, она будет Россией, которая наконец-то сбросила ярмо рабства, дала свободу человеку, свободу предприятиям, свободу предпринимательству, свободу республикам, входящим в состав России, свободу регионам, областям и краям, с минимальным давлением из Москвы, с минимальным влиянием бюрократии из Центра, с максимальной самостоятельностью на местах, без удельных княжеств” (Ельцин Б. От реформ в России не отступлю // Аргументы и факты.— 1992.— № 42.— С. 1, 2).

В силу этих причин реформисты и называли себя революционерами, тогда как революционеры до сих пор именуются реформаторами. В этой связи небезынтересно заметить следующее. Термин “необольшевизм”, который широко использовался в оппозиционной литературе и литературе объективистского толка, в том числе и автором этих строк, правда, с уточнением: своеобразный необольшевизм наизнанку (см.: Смолин О. Н. Куда ж нам плыть? // Вечерний Омск.— 1990.— 3 марта.— С. 5), представляется неточным в научном отношении. Взгляд большевиков на прежнюю систему в принципе качественно не отличался от взгляда всех предшествующих революционеров. Будучи противниками не определенного классово-антагонистического общества, а классово-антагонистического общества вообще и желая в кратчайшие сроки перейти от предыстории человечества к ее подлинной истории, большевики были не чем иным, как наиболее радикальными

революционерами и довели революционное отрицание прошлого до логического конца. Разумеется, стремление объявить весь советский период “тупиковой цивилизацией”, “ошибкой истории” и т. п. роднит большинство новейших политических лидеров России с большевиками. Однако корень этого родства лежит не в специфической разновидности революционной идеологии (идеологии большевизма), а в ее общих корнях. В этом смысле современных политических радикалов правого толка следовало бы назвать “неореволюционерами наизнанку”.

Учитывая сказанное выше о двух этапах российского социально-политического процесса 1985—1997 г., представляется совершенно неубедительным широко распространенное, особенно в политической публицистике, представление, согласно которому между курсами экономической политики группы Горбачева и группы Ельцина нет принципиальных различий. Характерен в этом смысле один из подзаголовков известной работы Р. Хасбулатова: “И при коммунизме, и при антикоммунизме реформы одни и те же!”. Вот его главная мысль: “Идеи Павлова, Н. Рыжкова, Е. Лигачева, М. Горбачева, А. Аганбегяна, Г. Попова успешно провела в жизнь команда “Ельцина–Гайдара–Бурбулиса”. Правда, если раньше, в “эпоху перестройки”, ценовая реформа увязывалась с постулатом “верности коммунизму”, то в новые времена абсолютно та же самая ценовая реформа увязывается с лозунгом “вперед к капитализму!” Так получают свое трагическое воплощение умствования ошалевших от возможностей экспериментировать бездумных правителей, освободивших себя от морали и от ответственности перед народом” (Хасбулатов Р. И. Великая Российская трагедия. Т. 1.— М.: ТОО Симс, 1994.— С. 57—58).

Несколькими страницами раньше в той же работе автор замечает: “Своеобразие экономической среды в России предопределило обратные эффекты волюнтаристских воздействий совершенно не подготовленных к государственной деятельности “сереньких людей” (Хасбулатов Р. И. Великая Российская трагедия. Т. 1.— М.: ТОО Симс, 1994.— С. 51). Подобная позиция вызывает возражения, по крайней мере, по двум причинам.

Во-первых, при общем направлении смещения курса экономической политики вправо на самом деле речь идет о двух качественно различных типах экономической политики: реформистской и революционной. Применение термина “политика реформы” к политике обоих правительств в сочетании с утверждением об их одинаковости лишь затемняет суть дела. С политической точки зрения желание дистанцироваться от обоих вариантов непопулярного экономического курса вполне объяснимо, но с научной точки зрения оправданий ему вряд ли можно найти.

Во-вторых, представляется поверхностным (весьма неглубоким) объяснение отечественных экономических неудач низкими моральными качествами и непрофессионализмом руководителей. Полагая, что уровень морали и квалификации названных Р. И. Хасбулатовым политических лидеров был весьма и весьма различным, и обсуждая здесь далее эту проблему, хотелось бы заметить главное: концепция “плохих исполнителей” вольно или невольно создает впечатление, что при хороших исполнителях результаты “второй русской революции” могли бы быть иными. На деле, как будет показано ниже, здесь действует целый набор ситуационных закономерностей, а авторы и режиссеры исторической драмы, подняв занавес, нередко сами оказываются в роли марионеток.

Образование. Революция. Закон...М., 1999

ГЛАВА III. РЕВОЛЮЦИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ: К ПРОБЛЕМЕ СИТУАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

Вопрос о законах исторических ситуаций в отечественной литературе почти 30 лет назад поставил Л. Е. Кертман, как полагалось по канонам времени, на базе классического марксистского наследия, в особенности работ В. И. Ленина по теории революционной ситуации (Кертман Л. Е. Законы исторических ситуаций // Вопросы истории.— 1971.— № 1.— С. 55—68). Приведем главные выводы автора этой работы.

“Анализ ленинского подхода к повторяемости ситуаций позволяет сделать по меньшей мере три вывода. Во-первых, помимо повторяемости систем, процессов, явлений, в истории встречается еще один тип — повторяемость исторических ситуаций, которые, следовательно, поддаются типологическому обобщению. Во-вторых, повторяемость ситуаций носит сущностный характер. Точно так же, как констатация повторяемости систем требует абстрагирования от конкретных особенностей системы в той или иной стране..., констатация типологической общности ситуаций предполагает

абстрагирование от определенных черт данной конкретной ситуации. Однако принцип абстрагирования и уровень абстракции здесь совершенно иной: в первом случае исследователь вообще отвлекается от исторической конкретности, от ситуации, во втором — он изучает именно ситуацию, но ограничивается лишь теми ее чертами, в которых выражается ее сущность. В-третьих, сущностью исторической ситуации является взаимоотношение классов, расстановка классовых сил. Качественное, существенное изменение в расстановке классовых сил приводит к изменению исторической ситуации. Исторические ситуации могут быть отнесены к одному типу, если взаимоотношения классов в принципе одинаковы” (там же.— С. 59).

В свое время позиция Л. Е. Кертмана подвергалась критическому анализу, однако критика эта обычно не поднималась выше своего объекта, по крайней мере, с точки зрения предлагаемых ею позитивных альтернатив. Так, например, не соглашаясь с Л. Е. Кертманом, И. А. Желенина предложила собственную интерпретацию исторических ситуаций в качестве своеобразных “узлов” на пути развития системы, содержанием которых является установление новой взаимосвязи ее (системы) элементов (Желенина И. А. Историческая и революционная ситуации // Проблемы теории социальной революции. Сб. статей под ред. М. Я. Ковальсона.— М.: Изд-во МГУ, 1976.— С. 125—126).

И далее: “Под исторической ситуацией мы понимаем такое состояние общественной системы, которое делает необходимым изменение связей внутри системы при сохранении ее как таковой или выход системы за собственные пределы” (там же). Иначе говоря, под историческими ситуациями понимаются внутрисистемные или межсистемные точки бифуркации, по другой терминологии — такие пограничные состояния процессов, когда количественные изменения могут перейти в качественные и т. п.

Несмотря на продуктивность некоторых идей, высказанных в статье И. А. Желениной, в целом такой подход представляется неприемлемым хотя бы потому, что резко сужает объем понятия “историческая ситуация”. Интерпретировать такие ситуации в качестве “узлов”, переломных моментов в развитии системы или в процессе превращения одной системы в другую — означает отказать в праве именоваться историческими всем социальным ситуациям, в которых преобладают процессы функционирования. Между тем именно из таких ситуаций состоит большая часть исторического процесса, а сами они, как и ситуации развития, поддаются типологизации. Полагать, будто ситуации “застоя” или плавного течения исторического времени не могут быть признаны историческими (а именно это следует из концепции И. А. Желениной) — значит резко и необоснованно ограничивать эвристические возможности понятия “историческая ситуация”.

В настоящее время вряд ли целесообразно идти путем критиков работы Кертмана. Спустя почти три десятилетия после выхода ее в свет гораздо важнее отметить достоинства, чем указывать на очевидные слабости автора, к тому же “стоя на его плечах”. И все же необходимо отметить, по крайней мере, два принципиальных различия в понимании законов исторических ситуаций Л. Е. Кертманом и автором настоящей работы.

Во-первых, по Л. Е. Кертману, типология исторических ситуаций и их законы определяются расстановкой и соотношением классовых сил. Отнюдь не считая классовый подход в принципе ошибочным, нельзя тем не менее не заметить,— и на это обращали внимание и сторонники, и критики революции,— что в поведении людей в условиях революционных кризисов отчетливо наблюдаются сходные тенденции даже при совершенно различном составе субъектов революционного действия. Нет нужды доказывать принципиальные различия в социальной стратификации общества в Англии середины XVII в., Франции конца XVIII в., России второго и последнего десятилетия XX в. Однако общие черты политического процесса в этих столь разных странах и в столь разные эпохи не менее очевидны.

Во-вторых, Л. Е. Кертман рассматривает законы исторических ситуаций как специфические законы исторической науки, которая, как известно, стремится выявить не столько общее, сколько различное, особенности тех или иных стран, культур и т. п., говоря словами Г. В. Плеханова, “физиономию событий”. Не отрицая возможности такого подхода, автор этих строк, напротив, стремится не к индивидуализации, а к генерализации познания, вычленению общих законов революций (по крайней мере — революций нового и новейшего времени), мало зависящих от их (революций) индивидуальных особенностей. Если еще раз воспользоваться терминологией М. Вебера, Л. Е. Кертман рассматривает историческую ситуацию как генетический (исторический) идеальный тип, тогда как автор — как “чистый” (теоретико-социологический) идеальный тип.

Как уже говорилось выше, ученые советского периода чаще всего исследовали проблему исторической ситуации на примере ситуации революционной. Критерий, отличающий последнюю от других исторических ситуаций, очевиден, хотя и формулировался не всегда с достаточной точностью. Так, в цитированной выше статье И. А. Желениной читаем: “Под исторической ситуацией мы

понимаем такое состояние общественной системы, которое делает необходимым изменение связей внутри системы при сохранении ее как таковой или выход системы за собственные пределы". И далее: "Такая историческая ситуация, которая подводит систему к той грани, за которой она превращается в новую.., является ситуацией революционной" (Желенина И. А. Историческая и революционная ситуации // Проблемы теории социальной революции. Сб. статей под ред. М. Я. Ковальзона.— М.: Изд-во МГУ, 1976.— С. 126). Данные определения нуждаются в уточнении, по крайней мере, двоякого рода.

Во-первых, в них смешиваются понятия социальной и политической революции и в следствие этого — необходимость и возможность. Главный критерий революционной ситуации состоит в том, что она делает возможной политическую революцию, тогда как необходимость замены одной социальной системы другой (то есть необходимость революции социальной) коренится в иных, гораздо более глубоких причинах, связь которых с революционной ситуацией имеет сложный и весьма опосредованный характер. Как известно, революционные ситуации весьма часто возникали и возникают там, где прежняя система отнюдь не созрела для того, чтобы превратиться в новую. Они могут быть результатом и незрелости системы, и различного рода нестабильности, и социальных "неравновесий", возникающих по самым разнообразным причинам.

Во-вторых, приведенные выше определения не позволяют четко разграничить понятия революционной ситуации (в качестве предреволюционной) и самой революции как исторической ситуации. Между тем такое разграничение представляется весьма важным для целей настоящей работы. Революционная ситуация непосредственно не создает не только необходимости, но даже возможности появления новой системы, но лишь через посредство другой исторической ситуации — собственно революции. Если отношение названных исторических ситуаций может быть выражено через категории возможности и действительности, то отношение их обеих к процессу появления новой системы в тех же категориях можно представить следующим образом: революционная ситуация — абстрактная возможность выхода за пределы наличной социальной системы; революция — реальная возможность такого выхода (не всякая революция заканчивается победой, и не всякая победившая революция приводит к появлению действительно нового); становление новой социетальной социальной системы — превращение этих возможностей в действительность.

Суть любой революции как исторической ситуации (независимо от конкретной расстановки общественных групп и их интересов) в ее чрезвычайном и первоначально деструктивном характере, который жестко навязывает участникам событий определенные направления деятельности, методы борьбы и стереотипы отношений, но вместе с тем может содержать в себе колоссальные социально-инновационные потенциалы. Пока революция не началась, пока все идет "штатно", жизнедеятельность человека подчинена обычным нормам и происходит под контролем давно сформировавшихся социальных институтов. Но как только "механизм" революции запущен, привычные законы человеческой жизнедеятельности или работают "вхолостую", или подвергаются отрицанию, реализуясь с точностью до наоборот. Неким слабым аналогом могло бы быть сравнение работы человеко-машинных систем в привычном режиме и в режиме аварийном. Иначе говоря, у революции свои признаки и законы, принципиально отличные от параметров функционирования социальных систем и существенно отличные от признаков и закономерностей революционной ситуации, предшествующей революции во времени.

Специально выделив эту проблему в качестве предмета исследования и посвятив ей по сути дела всю оставшуюся часть данной главы, автор заведомо отказался от претензий на открытие совершенно неизвестных истин. Дело в том, что закономерности эти — системно или бессистемно, в "сборе" или по отдельности, с теоретическим обоснованием или без него — уже назывались в работах теоретиков левого и правого направлений, убежденных адептов "религии революции" или ее не менее убежденных противников. Однако именно в силу политической остроты вопроса, во-первых, существует сравнительно мало примеров объективного, неидеологизированного его изучения, а во-вторых, общие ситуационные закономерности революций обычно принимаются за конкретно-исторические и довольно часто — сознательно или бессознательно — приписываются лишь той (или тем) революции, идеология которой противоречит убеждениям аналитика. В особенности это относится к так называемым "первородным грехам" революции, которые легко и уверенно прозреваются сквозь толщу десятилетий (или даже столетий), но никак не обнаруживаются в революции, современником которой является иной автор. Впрочем, теоретики в данном случае идут за политиками и подчиняются той же ситуационной закономерности. Позволю себе в этой связи процитировать одну из собственных публицистических работ начала 1990 г.

"Когда все это только начиналось, когда перестройка еще называлась ускорением и

разворачивалась под фанфары чуть ли не всеобщего требования ввести сухой закон, на вопрос о том, не существует ли в нашей стране революционная ситуация, я позволял себе отвечать иронически: если и существует, то вывернута наизнанку. В революционной ситуации “низы” не хотят, а “верхи” не могут жить по-старому, у нас же, наоборот, “низы” не могут, а “верхи” не хотят жить по-новому.

Теперь революционная ситуация — непреложный факт. Не раз приходилось слышать в рабочей аудитории: “Взять бы автомат, да пострелять...”, но все чаще произносятся и слова великого поэта: “Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!”.

Недавно очередной астролог — знамение зыбкого времени — сообщил нам, что Советский Союз находится под влиянием Урана, цикл которого — 84 года, и поэтому в 1989-м мы пережили аналог 1905 года, а дальше последует аналог столыпинской реформы, и — все к лучшему в этом лучшем из миров! Успокоение, надо сказать, рассчитано на исторически малограмотных, ибо, если развитие идет циклично, в начале XXI века нас ожидает гражданская война, а в 2021 году — 1937-й.

Но дело конечно не в гаданиях и прорицаниях, а в реальных процессах, которые — увы! — напоминают скорее 1917-й. В стране усиливается не просто размежевание (что естественно), но поляризация политических сил, и чем более входит в моду привычка ругать большевиков за экстремизм и нетерпимость в революционные дни, тем чаще проявляется и склонность к экстремизму и нетерпимости в собственных действиях” (Куда ж нам плыть. Размышления у придорожного камня истории // Вечерний Омск.— 1990.— 3 марта.— С. 5; Куда несет нас рок событий.— М.: ИПТК “Логос” ВОО, 1995.— С. 10—11).

Подобно другим типам исторических ситуаций, революции обладают повторяемостью как в синхроническом (по “горизонтали”), так и в диахроническом (по “вертикали”) плане (о повторяемости исторических ситуаций подробнее см.: Желенина И. А. Историческая и революционная ситуации // Проблемы теории социальной революции. Сб. статей под ред. М. Я. Ковальсона.— М.: Изд-во МГУ, 1976.— С. 128—130). Последний, “диахронический”, аспект повторяемости имеет в данном случае особое значение, поскольку, во-первых, в силу чрезвычайного характера данного типа исторических ситуаций и других факторов, о которых речь пойдет ниже, социокультурные особенности данной системы сказываются в эти периоды значительно меньше, чем во времена спокойного развития. Во-вторых, как будет показано в дальнейшем, “жесткость” ситуационных закономерностей во времена революции значительно возрастает. Именно поэтому Франция 1789—1794 гг. по многим параметрам политического процесса гораздо более походит на Россию 1917—1921 гг., чем на современные ей (Франции) Германию или Великобританию.

Говоря о характерных чертах и закономерностях революции как исторической ситуации, необходимо иметь в виду, по крайней мере, три обстоятельства.

Во-первых, каждая из анализируемых ниже характеристик и закономерностей с той или иной степенью интенсивности проявляется в любой революции нового и новейшего времени, т. е. в тех типах социальных революций, которые включают в себя революции политические.

Во-вторых, ни одна из этих характеристик и закономерностей не может считаться исключительной принадлежностью данного типа исторических ситуаций. Напротив, некоторые из этих черт в отдельности или в определенной избирательной совокупности наблюдаются и в других типах исторических ситуаций (ситуации кризисов, войн, реформ, катастроф и т. п.). Так, бифуркации в истории человечества могут быть связаны не только с социальными и политическими, но и с технологическими революциями; отрицание ярко проявляется в периоды реформ, смены научных или культурных парадигм; аномия — в периоды войн, катастроф, разложения прежней системы; появление мифов и утопий — во времена генезиса новой социетальной системы и опять-таки в периоды реформирования.

В-третьих, полным набором характеризующих ниже параметров и закономерностей не обладает ни одна другая историческая ситуация, за исключением ситуации революции. В совокупности они дают то системное качество, которое характеризует только данный тип исторической ситуации и никакой другой.

Исследование ситуационных характеристик и закономерностей революции имеет как эвристическое, так и политическое значение. Первое состоит в том, что наличие или отсутствие определенных параметров позволяет квалифицировать характер социально-политического процесса в определенной стране и в определенное время как реформистский или революционный, разрабатывать новые типологии революций в зависимости от выраженности этих характеристик, объяснить исторические аналогии, возникающие в действиях людей в условиях, казалось бы, несопоставимых исторических эпох и культур и т. п. Второе, практическое значение, как будет показано ниже, заключается в возможности моделирования и прогнозирования событий, кажущихся

многим хаотичными и принципиально непредсказуемыми. В дальнейшем материал первой главы настоящей работы будет расположен таким образом, чтобы, анализируя ситуационные характеристики и закономерности революции, верифицировать гипотезу о революционном характере российского социально-политического процесса 90-х гг., а вместе с тем показать эвристические и практические возможности и пределы применимости ситуационного подхода.

Социально-философские аспекты государственной образовательной политики в условиях радикальной трансформации российского общества. Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора философских наук. М., 2001

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Система методов исследования, применяемых автором, характеризуется широтой спектра, междисциплинарным и многоуровневым построением. Изучение столь сложного феномена, как политика в переходных социумах вообще и, в частности, образовательная политика, пронизывающая принципиально различные области общественной жизни и являющаяся объектом комплексного, перекрестного анализа для различных научных дисциплин,— такое изучение потребовало как специфического применения уже разработанных научных методов, так и разработки новых методов, соответствующих специфике объекта и предмета исследования. При этом используемые автором методы могут быть подразделены на три основные группы: философский, общенаучные и методы специальных наук.

На философском уровне необходимость адекватного теоретического реконструирования динамичных процессов радикальной трансформации российского социума (включая реформы в сфере образования) обусловила применение диалектического метода исследования, который, в частности, позволил раскрыть реальные противоречия политических отношений и процессов (в т. ч. в сфере образования), когда не прос-то различные взгляды, но объективно противоположные интересы крупных общественных сил вызвали к жизни глубокие и крупномасштабные конфликты. Эти конфликты в полной мере проявились и в формировании условий, и в выработке курса образовательной политики, напрямую воздействуя на законодательный процесс в этой области. С другой стороны, именно диалектика позволяет адекватно отразить на теоретическом уровне типичные для периода предреволюционных, революционных и постреволюционных преобразований качественные изменения в социально-экономических и политических процессах, отрицание и коренную ломку прежних институциональной и ментальной систем и противоречивое рождение новых (или реставрируемых старых), поскольку данный метод более всего соответствует характеру названных процессов, объекту и предмету исследования.

На общенаучном уровне автором применялся прежде всего системный метод, позволяющий в междисциплинарном плане обобщить и типологизировать широкий круг явлений, связанных с проблемой законодательного обеспечения государственной образовательной политики в России 90-х гг. Данный метод, в частности, позволил автору:

— выделить и структурировать комплекс признаков, необходимых и достаточных для квалификации революции как особого типа исторических ситуаций;

— проанализировать взаимосвязь и взаимодействие внешне гетерогенных факторов, определявших уровень развития российской демократии вообще, возможности и пределы влияния законодательства на политический курс — в особенности;

— типологизировать российское образовательное законодательство и определить основные направления законотворческого процесса, в т. ч. на ближайшую перспективу.

Применение философского и общенаучных методов для реализации целей, поставленных автором, оказалось необходимым, но недостаточным. Особенность самого предмета исследования поставила проблему комплексного осмысления взаимосвязи объективного процесса качественных изменений социума и случайного, многообразного, во многом субъективного (конъюнктурно-политически обусловленного) течения реальных процессов образовательной политики и ее законодательного обеспечения. Поэтому, наряду с философским и общенаучными, автор широко использовал в работе специальные методы политических, педагогических, исторических, социологических, социально-психологических, юридических и иных гуманитарных наук.

Интерпретируя метод как “приведение в действие соответствующей теории” (Гегель), т. е., другими словами, как использование одной или нескольких социогуманитарных научных парадигм для

получения нового знания, автор пришел к выводу, что ни одна из таких парадигм, охарактеризованных в разделе “Проблема”, взятая в отдельности или даже в совокупности с другими, для целей настоящего исследования не оказалась вполне адекватной без корректировки специально разработанным автором методом политико-ситуационного анализа.

Политико-ситуационный анализ интерпретируется автором как метод исследования, предполагающий:

- выявление (наряду с закономерностями социально-исторического процесса как целого и закономерностями функционирования и развития различных исторических типов социальных систем) специфических характеристик и закономерностей, устойчиво проявляющихся на уровне исторических ситуаций;

- определение и структурирование конкретных множеств названных характеристик и закономерностей, системы которых характеризуют определенные типы исторических ситуаций и никакие другие;

- использование одной из таких систем в качестве критерия квалификации исследуемой исторической ситуации и ее отнесения к определенному типу;

- прогнозирование на основе установленных характеристик и закономерностей данного типа исторической ситуации основных сценариев ее развития и наиболее вероятного из них.

Так, в огромной массе концептуальных интерпретаций того, что происходило и происходит в России (или с Россией), отчетливо выделяются две наиболее распространенные линии, одновременно выступающие и границами спектра мнений. Одно объяснение состоит в том, что все произошло как должно, было заранее предопределено тем или иным набором факторов и иначе быть не могло. Как ни странно, такое объяснение принадлежит преимущественно радикально-либеральным сторонникам индивидуальной свободы! Другое объяснение сводит главные причины новейшей российской исторической драмы к субъективным факторам: к так называемому “предательству верхов” либо к заговору тех или иных международных сил. Такая позиция (что не менее парадоксально, чем первое) нередко разделяется людьми, считающими себя сторонниками марксистской интерпретации истории как естественно-исторического процесса.

Напротив, с помощью названного выше метода автор стремился показать, как законы исторических ситуаций (в данном случае — законы революции, механизм которой был сознательно или бессознательно “запущен” частью политической элиты), предопределили ход и исход событий, как впоследствии объективная логика революционного развития подчиняла себе политических лидеров, которые сплошь и рядом оказывались в положении литературного героя, выпустившего джина из бутылки и не способного с ним справиться.

Отчасти по аналогичным причинам, связанным с воздействием основных закономерностей и характеристик революции, слабо учитываемых теоретиками, в XX в. Россия (Советский Союз) оказалась своеобразным полигоном, а вместе с тем и “кладбищем” идеологий, показав примеры крушения политико-идеологических построений, более или менее успешно реализовавшихся в иных условиях. Так, глобальный кризис “советской модели” социума наглядно показал, по меньшей мере, односторонность теоретических оснований ортодоксального коммунизма. Не менее ограниченными проявили себя в последующие годы и теоретические постулаты догматического антикоммунизма, подобно своему предшественнику, обещавшего народу скорое и гарантированное наступление “светлого будущего” в результате глобального разрушения прежней системы и смены господствующего типа собственности.

Теория конвергенции, если и была реализована в России, то не в позитивной ее интерпретации, которую предлагали, например, Дж. Гэлбрейт и А. Сахаров, предполагавшие, что конвергентная модель общества будет синтезировать достижения общественно-плановой (социалистической) и частно-рыночной (капиталистической) систем. Напротив, радикальная трансформация “советской модели” в модель постсоветскую, по крайней мере, на данном этапе привела к “негативной конвергенции”, к формированию своеобразного “социального кентавра”, противоречиво синтезирующего, казалось бы, несовместимые стороны, в том числе пороки различных цивилизаций и общественных формаций:

- образовательный потенциал и квалификация работника — почти на уровне индустриальных стран Запада, а оплата его труда в реальном исчислении — в несколько раз ниже, чем в странах со средним уровнем развития;

- уравнительность, например, в пенсионном обеспечении — более высокая, чем была в советский период, при общем уровне социального неравенства, значительно превосходящем аналогичные показатели индустриально развитых стран;

— низкая рождаемость — как в развитых странах, но высокая смертность и низкая продолжительность жизни — как в развивающихся;

— практически все проблемы “потребительского общества” при отсутствии его главного атрибута — высокого массового потребления, а значит, и самого “потребительского общества” и т. п.

Опыт последнего десятилетия показал, что классические либеральные и неолиберальные экономические модели в России на практике дают иные, в ряде случаев прямо противоположные результаты, чем это предполагается в теории. Так, например, приватизация как главное “лекарство” от всевластия бюро-кратии в отечественных условиях сопровождалась разрастанием бюрократического аппарата, усилением его коррумпированности и снижением дееспособности.

Стремление автора отобразить детерминированные историко-культурным контекстом качественные трансформации образовательной политики и ее законодательного обеспечения обусловило необходимость синтеза теоретико-фундаментальных (диалектического и системного) методов со специальными методами различных социогуманитарных наук и прикладным подходом, непосредственно апеллирующим к эмпирическим процессам и практически ориентированным, необходимость синтеза методологии различных уровней и направленности. Проводя такой синтез, автор решал проблемы соотношения общего и особенного, закономерного и случайного, показывая на основе изучения прямых и обратных связей между этими двумя полями методологий реальное перетекание конкретных фактов и процессов образовательной политики в закономерности новейшей российской революции, и наоборот — проявления закономерностей качественных трансформаций российского социума в реальных ситуациях и событиях.

Интерпретируя понятие метода в ином аспекте,— как систему способов научного исследования, относительно не зависимых от содержания науки,— автор, помимо набора традиционных специальных методов и методик (изучение и анализ документов, статистических данных и т. п., обобщение результатов социологических опросов, политико-социологическая интерпретация материалов художественной культуры и др.), широко использовал метод включенного наблюдения. Будучи с 1990 г. депутатом федеральных законодательных органов власти (народным депутатом России, депутатом Совета Федерации первого созыва, депутатом Госдумы второго и третьего созывов), автор на протяжении 10 лет постоянно и непосредственно наблюдал поведение и трансформацию сознания российской политической элиты, а в особенности таких субэлит, как парламентская, политико-образовательная и политико-научная.

Более того, став одним из основных разработчиков абсолютного большинства действующих законов, а также законов и законопроектов в области образования, прошедших различные стадии парламентской процедуры, автор оказался еще и участником крупномасштабных социальных и социально-педагогических экспериментов по выявлению эффективности законодательного регулирования социокультурных (в т. ч. политико-воспитательных) процессов в революционных условиях. В данном случае использованные, а отчасти разработанные автором философско-методологические принципы оказались непосредственно воп-лощены не только в теоретическом исследовании как форме практической деятельности, но и в политико-правовой практике как форме исследования, когда верность теоретических построений (и, в частности, прогнозов) регулярно верифицировалась в реальном политическом процессе, и обратно — реальный политический процесс питал новые теоретические обобщения.

Учитывая, что стратегические прогнозы автора (отображенные документально) были в основном подтверждены практикой, можно предположить, что продуктивны и лежащие в их основе теоретические и методологические концепции.

Социально-философские аспекты государственной образовательной политики... Диссертация... доктора философских наук. М., 2001

ИЗ РАЗДЕЛА “ПРОБЛЕМА”

Широта, многоаспектность и междисциплинарный характер исследуемой проблемы предопределили необходимость осмысления весьма широкого круга чрезвычайно разнообразной и, более того, разнородной литературы. Вся совокупность работ, изученных автором, разумеется весьма условно, может быть подразделена на следующие основные группы:

по целям исследования — фундаментальные и прикладные;

по уровню исследования — теоретические и эмпирические;
по характеру изложения — научные, научно-публицистические и публицистические;
по научной принадлежности — философские, исторические, политологические, социологические, педагогические, социально-психологические, юридические, экономические, узкоспециализированные внутри каждой из названных наук, а также междисциплинарные.

Особый вопрос представляет собой группировка использованной литературы по приверженности авторов той или иной научной парадигме. Поскольку сама классификация и типологизация таких парадигм, доминирующих в современном социогуманитарном знании, остается предметом дискуссии, автор считает себя вправе в качестве одного из возможных предложить собственный подход, применимый, как представляется, отнюдь не только в отношении литературы, использованной при исследовании данной темы. Согласно этому подходу, доминирующие в современных социогуманитарных исследованиях научные парадигмы могут быть типологизированы по двум главным основаниям.

В зависимости от представления о характере детерминации общественных процессов можно выделить, как минимум, следующие парадигмы: антропологическую (включая естественную и социальную антропологию); социально-психологическую; индивидуально-психологическую (в том числе фрейдизм и неопрейдизм); технологический детерминизм (от У. Ростоу до постиндустриалистов); социально-экономический детерминизм (марксизм и отчасти неомарксизм); социокультурный детерминизм (М. Вебер и его последователи); “теория факторов” и др.

В зависимости от представления о характере и механизмах развития — по крайней мере, функционализм (включая Т. Парсонса) и теорию конфликта.

В литературе, использованной автором, представлены практически все названные выше парадигмы. Однако, как уже отмечалось, ни одна из них не является абсолютно адекватной для исследования специфического типа политической ситуации в России 90-х гг., но, напротив, все они нуждаются в корректировке политико-ситуационным анализом.

Тема исследования и особенность исторической ситуации предопределили необходимость обращения к работам ведущих действующих политиков, а также значительную степень политизации использованных научных публикаций. Политические убеждения авторов вышеназванных работ в современных российских условиях могут быть подвергнуты трехмерной классификации, а именно:

— согласно классической схеме политической науки: коммунистические, левосоциалистические, социал-демократические, либеральные, консервативные, праворадикальные;

— с точки зрения геополитической ориентации: “западнические” и “славянофильские”, “почвеннические”;

— исходя из представлений о субъекте управления: государственно-чиновнические и самоуправленческие.

Трансформационный характер политического процесса предопределил возможность самых неожиданных сочетаний трех названных выше координат в убеждениях политиков и ученых. Однако, как правило, этих координат бывает достаточно для определения политической принадлежности любого автора.

РАЗДЕЛ 2. НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА? РАДИКАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАК РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Еще закон не отвердел,

Страна шумит как непогода.

Хлестнула дерзко за предел

Нас отравившая свобода.

С. Есенин

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: ПОПЫТКА НЕИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Помимо господствующей оценки российского социально-политического процесса 90-х гг. в качестве периода реформ, в литературе встречаются следующие его характеристики:

революция (с различными, подчас противоположными определениями);
контрреволюция;
реставрация;
антиреволюция;
смута и др.

Первую из этих характеристик, ввиду многообразия прилагаемых к ней определений, невозможно связать с политическими ориентациями теоретиков. Вторая принадлежит, как правило, теоретикам и политикам леворадикальной и еще более левой ориентации, но не правее умеренно левых (см.: Воля. Свободное издание. Спецвыпуск.— 1992.— апрель.— № 1 (6).— С. 1). Третья представлена сравнительно редко и по преимуществу теоретиками околоцентристских направлений (см.: Кутырев В. Перестройка, реставрация, эволюция... Опыт философско-исторического осмысления // Диалог.— 1992.— № 4—5.— С. 28).

Помимо идейно-политических воззрений авторов, придающих понятиям “революция”, “контрреволюция”, “реставрация”, “реформы” ярко выраженный аксиологический аспект, помимо сложности и незавершенности самого процесса, такая разноречивость оценок обусловлена тем, что при кажущейся терминологической очевидности в эти понятия вкладывается весьма различное содержание.

В соответствии с официальной установкой, согласно которой в России осуществляются реформы, отечественные исследования по теории социальных и политических революций представлены в 90-х гг. довольно слабо. Особенно ярко проявляется это в количестве квалификационных работ, выбор тем которых рельефно отражает массовые околонучные представления соискателей и их руководителей о “диссертательности” той или другой проблемы. Так, в каталоге диссертационного зала Российской государственной библиотеки, еще недавно именовавшейся Ленинской, отражена следующая динамика диссертационных исследований по проблемам социальных и политических революций: 1987—1991 гг.— 32 (в том числе 10 защищены иностранцами, преимущественно, кубинцами); 1992—1997 гг.— 2 (данные на октябрь 1997 г.). Электронный каталог Российской парламентской библиотеки за 1994—1997 гг. фиксирует следующее количество публикаций, ключевыми словами в названии которых являются “революция”, “реформа”.

Книги: “революция” — 168, “реформа” — 108;

журнальные статьи: “революция” — 50, “реформа” — 343;

авторефераты: “революция” — 8, “реформа” — 10;

статьи из сборников: “революция” — 4, “реформа” — 35 (данные на октябрь 1997 г.).

Оценивая приведенную статистику, необходимо иметь в виду, что, во-первых, “революция” является ключевым словом для названий работ, посвященных не только революциям социальным и политическим, но также научным, техническим и т. п. Иными словами, количество исследований по проблемам социальных и политических революций в 90-х гг. намного меньше. Во-вторых, существуют, разумеется, исключения из общего правила, о которых речь пойдет ниже. В-третьих, по-видимому, отмеченная тенденция отчасти и объясняет ту поразительную устойчивость дефиниций интересующих нас терминов, которая наблюдается в справочных и учебных изданиях, где содержание этих дефиниций изменилось весьма незначительно.

Кстати сказать, автор этих строк здесь и далее предполагает обращаться в первую очередь к справочным и учебным изданиям, поскольку они более, чем любые другие, с одной стороны, отражают массовые представления, господствующие в науке соответствующего периода, если позволительно так выразиться, обыденное сознание теоретиков, а с другой стороны — оказывают некоторое воздействие, хотя бы и незначительное, но на порядок превосходящее воздействие малотиражных специальных исследований, на массовое сознание, на общественную психологию. Процессы же, происходящие в этом массовом сознании, в том числе обыденном, и должны интересовать прежде всего исследователя ситуационных закономерностей революции.

Как показывают исследования по истории общественной мысли, термин “революция” используется для обозначения крупных общественных перемен начиная с периода классического средневековья. Согласно Р. Н. Блюму, впервые социальные беспорядки и политические перевороты были названы революциями в “Хрониках флорентийских купцов” Джованни и Матео Виллани, относящихся к

середине XIV в. Однако вплоть до Великой французской революции во многих случаях этот термин использовался в значениях, скорее противоположных наиболее распространенному в настоящее время — “не как преобразование, ведущее к новому строю, а как возвращение к старому “доброму” времени, как поворот назад” (Блюм Р. Н. Понятие политической и социальной революции в домарксистской и марксистской общественной мысли // Проблемы теории социальной революции. Сб. статей под ред. М. Я. Ковальзона.— М.: Изд-во МГУ, 1976.— С. 8).

По количеству определений термин “революция” вряд ли может сравниться с такими социально-философскими понятиями, как “общество”, “цивилизация”, “культура” или “личность”, однако термин этот весьма многозначен, причем различные его значения наиболее четко раскрываются при логическом анализе понятия революции в парах с соотносительными категориями.

1. На общефилософском уровне в паре “революция — эволюция” революция выступает как скачок-переворот (взрыв), как быстрое, стремительное качественное изменение, преобразующее сущность системы; эволюция — как постепенное количественное изменение при сохранении сущности или, что, вероятно, ближе к истине, как постепенное качественное изменение (см.: Селезнев М. А. Социальная революция (Методологические проблемы).— М.: Изд-во МГУ, 1971.— С. 78). С этой точки зрения социально-политический процесс в России 90-х гг., как и аналогичные процессы в бывших социалистических странах, несомненно представляет собой революцию. Доказательства этого тезиса, если он вообще нуждается в доказательствах, будут приведены ниже. Здесь же достаточно указать на применение “шоковой терапии”, в результате которого произошло “взрывное” движение от сверхцентрализованной экономики к практически нерегулируемой; на обвальное изменение характера приватизации, темпы которой на порядок превосходили интенсивность аналогичного процесса в период правления Маргарет Тэтчер при противоположном социально-экономическом результате; на разрушение прежней государственности (Советского Союза); на политические перевороты, а также малую (октябрь 1993 г.) и локальную (Чечня) гражданские войны, которые обычно являются верными спутниками революций и т. п.

2. На политологическом уровне в паре “революция — переворот” названные понятия различаются двояким образом: по объему и в аксиологическом аспекте.

Что касается объема понятия, то хорошо известна марксистская традиция, согласно которой термин “революция” может употребляться в широком и узком смысле слова. В широком — для обозначения революции социальной, охватывающей различные сферы жизни общества; в узком — как синоним революции политической, решающей вопрос о власти (Ленин В. И. Детская болезнь “левизны” в коммунизме // Полн. собр. соч. 5-ое изд. Т. 41.— С. 3). В последнем смысле понятия “политическая революция” и “политический переворот” тождественны. Не случайно сам руководитель Октябрьской революции неоднократно называл события октября 1917 переворотом. Если бы этот аспект различия был единственным, жаркие политические споры по поводу того, что произошло в России в октябре 1917 года: революция или переворот,— были бы лишены всякого теоретического смысла.

Однако за этими спорами стоит аксиологический аспект различия между понятиями, ибо, хотя теоретики или нет, для массового сознания революция — нечто легитимное, морально оправданное или положительное, тогда как переворот отождествляется с нарушением закона, заговором, авантюрой и т. п. Поскольку же историю пишут победители, нередко оказывается справедливым афоризм, согласно которому революция — это успешный переворот, удавшийся заговор, а переворот — неудавшаяся революция. С этой точки зрения популярная ныне в литературе оценка большевиков как кучки авантюристов означает лишь то, что, вопреки обещаниям Ленина, спустя 74 года большевики не сумели удержать государственную власть или, может быть, сумели ценой превращения этой власти и самих себя в противоположность.

3. На уровне политико-философского анализа в паре “революция — реформа” выявляется целый ряд характеристик, по которым различаются эти категории (разумеется, все перечисленные ниже противоположности весьма и весьма относительны):

революция — коренное преобразование, реформа — частичное;

революция радикальна, реформа — более постепенна;

революция (социальная) разрушает прежнюю систему, реформа сохраняет ее основы;

революция осуществляется в значительной мере стихийно, реформа — сознательно (в этом смысле при определенных условиях реформа может быть названа революцией “сверху”, а революция — реформой “снизу”).

Понятие реформы, как и понятие революции, достаточно устоялось в социогуманитарных науках, и настолько, что устояло даже под натиском социальных катаклизмов, о чем свидетельствуют

справочные издания. Сравним следующие определения:

“Реформа...— преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не уничтожающее основ существующей социальной структуры; формально — нововведение любого содержания, однако реформой обычно называют более или менее прог-рессивное преобразование” (Большой энциклопедический словарь. Т. 2.— М.: Сов. энцикл., 1991.— С. 263);

“Реформа социальная...— изменение какой-либо существенной стороны жизни общества при сохранении основ его экономического и государственного строя” (Политология. Энциклопедический словарь.— М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993.— С. 341).

Что касается справочного издания, выпущенного в 1995 г., то оно дословно повторяет приведенный выше текст “Большого энциклопедического словаря”, лишь со следующим дополнением: “Реформа ценообразования — коренное изменение системы цен и в значительной мере принципов их формирования” (Краткий словарь современных понятий и терминов.— М.: Республика, 1995.— С. 367).

Почему определение “коренное” используется только для характеристики реформы ценообразования и не применяется к социальным реформам, рациональному объяснению не поддается. Возможно, это реакция на первые результаты шоковой терапии в Российской Федерации. Наконец, “Философский энциклопедический словарь”, изданный в 1997 г., дословно повторяет определение реформы, изложенное в “Краткой философской энциклопедии” 1994 г.

С теоретической точки зрения важным во всех этих определениях является однозначная характеристика реформ как переустройства отдельных сторон, элементов системы, не затрагивающего ее основ, очевидная для подавляющего большинства специалистов. Впрочем, те же специалисты, переходя к анализу политических процессов в России, дружно называют реформами коренную ломку предшествующего общественного строя. Правда, в данном случае не теория, как это часто бывает, разошлась с жизнью, а жизнь разошлась с теорией, но результат для них обеих все тот же.

4. С точки зрения историко-социологической в паре “революция — реставрация” революция интерпретируется как переход к новому типу общества (социетальная система, цивилизация, формация), а реставрация — как возвращение к его прежнему типу. В этом смысле российские “реформы” 90-х гг., если и не представляли собой прямую попытку реставрации дооктябрьской общественной системы, то, по крайней мере, содержали ярко выраженные реставрационные тенденции, по силе соперничавшие с модернизационными, а иногда их превосходившие.

Реставрационные тенденции проявлялись прежде всего в знаковой форме, в отношении к прежним символам: возвращение дореволюционного флага и герба; восстановление топонимов; коренное изменение отношения к символическим историческим фигурам (превращение большинства царей, несмотря на прокламируемые демократические ценности, из дьяволов в героев, а большинства генеральных секретарей — из героев в дьяволов); восстановление храмов и демонстративная религиозность политических лидеров и т. п. При этом некоторые реставрационные проявления приобретали алогичный, полукурьезный, а то и трагикомический характер, лишний раз доказывающий справедливость гераклитова афоризма о невозможности вступить в одну реку дважды. Хорошо известно, например, что станции московского метрополитена никогда никаких названий, кроме советских, не имели. Топонимы же типа Санкт-Петербург в Ленинградской области либо Екатеринбург в Свердловской области невольно вызывают в памяти сатирико-фантастический рассказ одного из комментаторов радио “Свобода” о том, как в славном городе Старосибирске улица Красных партизан была переименована в Белобандитский проспект. Не менее парадоксально выглядит строительство новоделов на фоне продолжающегося разрушения действительно старинных храмов. Что же касается двуглавого орла, то, как известно, он был символом евразийской, точнее, полуазиатской российской монархии. Еще в 60-х гг. прошлого века редактор сатирического журнала “Искра”, известный поэт Василий Курочкин писал в своем стихотворении “Двуглавый орел” (Василий Курочкин. Двуглавый орел // Стихотворения.— М.: Детская лит-ра, 1972.— С. 31—32):

Я нашел, друзья, нашел,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всем гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орел.

Я сошлюсь на народное слово,
На великую мудрость веков:
Двуголовье — эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.
Не вступая и в споры с глупцами,
При смущающих душу речах,
Сколько раз говорили вы сами:
“Да никак ты о двух головах!”

Оттого мы несчастливы, братья,
Оттого мы и горькую пьем,
Что у нас каждый штоф за печатью ¹
Заклеймен двугловым орлом.
Наш брат русский — уж если напьется,
Нет ни связи, ни смысла в речах;
То целуется он, то дерется —
Оттого что о двух головах.
Взятки — свойство гражданского мира,
Ведь у наших чиновных ребят
На обоих бортах вицмундира ²
По шести двугловых орлят.
Ну! и спит идиот безголовый
Пред зеркалом ³, внушающим страх,—
А уж грабит, так грабит здорувом
Наш чиновник о двух головах.

Правды нет оттого в русском мире,
Недосмотры везде оттого,
Что всевидящих глаз в нем четыре,
Да не видят они ничего;
Оттого мы к шпионству привычны,
Оттого мы храбры на словах,
Что мы все, господа, двуязычны,
Как орел наш о двух головах.

Я нашел, друзья, нашел,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всем гербовый,
Двуязычный, двугловый,
Всероссийский наш орел.

Превращение двуглавого орла в символ новой Российской республики теми, кто сначала вслед за Рейганом называл наследника Российской империи — Советский Союз — “империей зла”, а затем принял непосредственное участие в его (Советского Союза) ликвидации, невозможно характеризовать иначе как очередную иронию истории. Не случайно появление этого герба на новых паспортах спровоцировало политические конфликты на Северном Кавказе и в Дагестане, где он (герб) был воспринят как символ дооктябрьской имперской политики. Впрочем, с учетом республиканской формы правления в новом государстве герб все же пришлось подвергнуть модернизации, что лишним раз доказывает невозможность даже такой реставрации в полном объеме.

¹ “Каждый штоф за печатью”.— Бутылки с водкой запечатывались печатью с изображением двуглавого орла.

² “На обоих бортах вицмундира”.— На пуговицах чиновничьих вицмундиров также был изображен двуглавый орел.

³ Зерцало — треугольная призма с указами Петра I на ее гранях, стоявшая во всех судебных и других правительственных учреждениях дореволюционной России; символ правосудия и государственной власти.

Еще более это становится очевидным, когда речь идет о попытках восстановления существовавших в дооктябрьской России социальных отношений и институтов — от сословий до монархической власти. Разумеется, мало кто станет возражать против освоения и развития культурного наследия дворянской интеллигенции или традиций казачества как особого российского субэтноса. Но когда поднимается вопрос о придании дворянам или казакам статуса сословий в качестве условия развития “новой России”, то полезно чаще вспоминать азбучные истины социологии, согласно которым сословный тип социальной стратификации является элементом доиндустриальной средневековой цивилизации (она же — феодализм), тогда как руководство современной России заявляет о намерении двигаться к цивилизации пост-индустриальной.

В связи с рассматриваемой проблемой заслуживают внимания появившиеся в литературе нетрадиционные трактовки понятия “реставрация”. Так, в интересной, но спорной статье В. Кутырева последняя интерпретируется как процесс перехода от революционной фазы развития к эволюционной, а ее (реставрации) историческое содержание — как преодоление крайностей революционной эпохи, выход из тупика, в который общество впадает при буквальной реализации целей революции. При этом автор указывает на то, что лозунг “возрождения” по содержанию весьма близок понятию реставрации, поскольку означает второе рождение, восстановление того, что уже когда-то существовало, но было отвергнуто (революцией) (Кутырев В. Перестройка, реставрация, эволюция... Опыт философско-исторического осмысления // Диалог.— 1992.— № 4—5.— С. 26—32). Последний тезис представляется истинным, тогда как первый — ложным, причем главным аргументом против него являются исторические аналогии. Вспомним, что реставрации Стюартов в Англии в 1660 г. и Бурбонов во Франции в 1813 г. означали не устранение крайностей революции, а попытки вернуться к дореволюционным порядкам. Обе они привели не к переходу процесса в эволюционную фазу, а к новым политическим революциям (1688 г. и 1830 г. соответственно). Процесс, который В. Кутырев характеризует как реставрацию, с точки зрения исторических аналогий представляется скорее похожим на термидор. Последний все чаще интерпретируется в настоящее время не как синоним контр-революции, а как такой политический переворот, который, не ликвидируя основных завоеваний революции, возвращает ее в рамки реальных исторических возможностей (см.: Якобинство в исторических итогах Великой французской революции. “Круглый стол” в редакции журнала // Новая и новейшая история.— 1996.— № 5.— С. 74, 79, 86—87).

5. В историко-аксиологическом аспекте в паре “революция—контрреволюция” первое из этих понятий означает прогрессивное преобразование, качественный скачок в движении общества вперед, тогда как второе — преобразование регрессивное, откат назад. Поскольку возникновение качественно новой общественной системы — не всегда прогресс, а восстановление прежней — не всегда регресс (революции тоже бывают консервативными), понятия реставрации и контрреволюции взаимосвязанны, но не тождественны. Последнее, как и понятия “прогресс — регресс”, имеет ярко выраженный аксиологический акцент. В силу этого оценка тех или иных исторических событий как революционных или контрреволюционных является относительной и определяется двумя группами факторов: во-первых, объективными последствиями этих событий для общества, которые нередко выявляются спустя многие десятилетия; во-вторых, позициями исследователя (не зря говорят, что прошлое тоже бывает непредсказуемо, а результат зависит от точки зрения).

Небезынтересно отметить, что интерпретация понятия “контрреволюция”, характерная для советского периода, а может, просто отражающая бессознательную установку на революцию как заведомо положительный феномен, широко распространена и в литературе постсоветской, включая справочные издания. Открыв “Краткий словарь современных понятий и терминов” (М.: Республика, 1995.— С. 203), читаем: “Контрреволюция...— активная борьба свергнутых классов и социальных групп против расширения и распространения революции с целью ее подавления и восстановления прежних порядков”. Данное определение содержит сразу несколько неточностей. Во-первых, определение контрреволюции в терминах борьбы классов отражает лишь один из аспектов этого процесса (конфликтологический) и расходится с устоявшимися определениями революции. Во-вторых, контрреволюция может быть делом отнюдь не свергнутых классов, а вновь сформировавшихся общественных групп, о чем свидетельствует, например, опыт стран Азии и Африки, избравших в свое время путь “социалистической ориентации”. В-третьих, увязывая понятие контрреволюции не с регрессом, а с борьбой за восстановление прежних порядков, авторы избегают угроз аксиологического субъективизма, однако при этом не просто фактически отождествляют контрреволюцию с реставрацией, но и оказываются в тупике относительности. Понятие прежних порядков в условиях, например, революционной эпохи во Франции 1789—1871 гг., где произошло более 10 политических переворотов и контрпереворотов, практически не поддается однозначной

интерпретации, ибо прежними по отношению к каждой следующей революции были порядки, установленные революцией предыдущей. В этом случае, например, революцию 1830 г. пришлось бы признать контрреволюцией по отношению к реставрации Бурбонов, которая, в свою очередь, выступала как контрреволюция по отношению к 1789—1794 гг. и т. д. до абсурда.

6. Ричард Саква, рассматривая проблему на политико-философском уровне, попытался вынести ее решение за рамки традиционной системы координат, введя для обозначения событий 1989—1991 гг. в Восточной Европе и Советском Союзе термин “антиреволюции”. По мнению Р. Саквы, “революции 1989—1991 гг. не только положили конец определенному революционному циклу, связанному с русской революцией октября 1917 г., но обозначили завершение целой эпохи, порожденной Просвещением революционности...” (Саква Р. Конец эпохи революций: антиреволюционные революции 1989—1991 годов // Полис.— 1998.— № 5.— С. 24). “Изживание “просветительского революционизма”,— продолжает автор,— означает отнюдь не то, что больше не будет восстаний, переворотов, мятежей и бунтов, а то, что изменился философский смысл подобных событий” (там же), а именно: “отсутствует универсальная система светских догматов, которая могла бы подкрепить надежды на то, что политический переворот откроет путь в царство справедливости, заложит основы лучше мира” (там же).

Другие отличия новейших “антиреволюций” от классических революций прошлого, по мнению Р. Саквы, состоят в том, что “антиреволюции”:

затрагивают урбанизированные общества в условиях мира (там же.— С. 25);

сняли противоположность революции и реформы, будучи тем и другим одновременно и в то же время — ни тем, ни другим (там же.— С. 26);

отрицая революцию как метод, имели более революционные следствия, чем многие так называемые революции, поскольку знаменовали конец эпохи революций и даже самого дискурса просветительской модернизации (там же.— С. 26);

представляли собой революции маневра, поскольку “поиски модели лучшего мира велись не в будущем, а в прошлом или настоящем с вариациями по временной и пространственной осям” (там же.— С. 27);

в известном смысле были “договорными революциями”, для исследования которых может быть использована теория игр и др. (там же.— С. 28).

При этом, согласно Р. Сакве, “отказ от революционного социализма был не “революцией наоборот”... или, сокращенно, контрреволюцией, а “противоположностью революции”... т. е. оппозицией революционному процессу как таковому” (там же.— С. 30). Аргументируя данный тезис, автор концепции называет два, по его мнению, кардинальных различия между антиреволюциями и контрреволюциями: “во-первых, они (антиреволюции — **О. С.**) пытались преодолеть реальные революции, происшедшие в соответствующих странах в 1917 г. и 1945—1948 гг., и, во-вторых, они полностью отвергли всю логику революционного мышления, подчинявшую себе воображение европейцев на протяжении почти двух столетий” (там же.— С. 26).

Позиция Р. Саквы приведена здесь столь подробно не только из-за ее оригинальности, но и из желания предоставить читателю возможность самому убедиться в не слишком высоком качестве ее аргументации.

Во-первых, строго говоря, едва ли не единственным реальным основанием концепции Р. Саквы служит сравнительно мирный, “бархатный” путь осуществления большинства революций 1989—1991 гг. Однако этого явно недостаточно для радикальных выводов об “антиреволюционных революциях”, ибо возможность мирного осуществления революций признавалась и прежде, в том числе даже такими радикальными революционерами, как основатели марксистской теории. Сказанное в значительной мере относится и к тезису о снятии противоположности между реформами и революцией. Такая противоположность в качестве абсолютной существовала лишь в головах революционеров-догматиков, тогда как в реальной жизни реформы нередко перерастали в революцию и практически всегда ее сопровождали, завершая в постреволюционный период процесс трансформации одной системы в другую.

Во-вторых, не более убедительными выглядят аргументы в защиту отличий антиреволюции от контрреволюции: достаточно напомнить, что те, кого Ж. Кондорсе в конце XVIII в. именовал контрреволюционерами, также искали свои социальные идеалы не в будущем, но в прошлом (своей страны) или настоящим (феодальной Европы).

В-третьих, осуществление новейших революций в индустриальных обществах и к тому же в мирное время действительно отличает их от большинства предшественниц. Однако отсюда вовсе не следует, будто эти революции кладут конец просветительскому пониманию модернизации. Скорее

наоборот: их лидеры почти повсеместно выдвигали лозунг “возвращения в цивилизацию”, представляющий собою по сути вариант хрущевского призыва “Догнать и перегнать”, но не за счет более быстрого развития системы, а путем кардинального изменения типа общественного развития. Как будет показано ниже, логика поведения новейших российских “антиреволюционеров” по всем остальным параметрам, включая готовность к применению насилия, воспроизводила логику поведения их предшественников, несмотря на противоположную направленность социального действия и бесконечные заявления о разрыве с традициями прошлого. Возможно, именно эти заявления Р. Саква и принял за сущность процесса. Более того, утверждение о преодолении просветительского дискурса представляется безнадежно оптимистичным и в отношении политических лидеров индустриально развитых стран: война в Югославии убедительно показала, что и среди них преобладает революционно-просветительское стремление “железной рукой загнать человечество к счастью”.

Наконец, в-четвертых, что касается легкости осуществления “договорных революций”, то она найдет свое вполне реалистическое объяснение в предпоследнем разделе работы.

7. Наконец, термин “смута”, нередко используемый для характеристики современного этапа российской истории, не может быть определен через оппозицию к термину “революция”, хотя некоторые авторы располагают его в категориальном треугольнике: “революция — эволюция — смута” (см.: Ландау Г. Революция, бунт, смута // Новое время.— 1994.— № 40.— С. 43—45). Рассматривая революцию как процесс ломки устаревшей формы новым содержанием, а эволюцию, напротив, как процесс обвальной деградации формы под действием обедненного содержания (там же.— С. 44), Г. Ландау интерпретирует смуту как “чистую, без имманентного устремления к ломке во имя совершенной или более упрощенной организации... непосредственную государственно-социальную дезорганизацию” (там же.— С. 45).

На взгляд автора, термин “смута”, во-первых, представляет собой скорее образную характеристику, чем научную категорию, либо, в лучшем случае, если воспользоваться терминологией Макса Вебера,— генетический (исторический) “идеальный тип” в отличие от “чистого” (социологического) “идеального типа”. Во-вторых, при самых разнообразных трактовках, включая и трактовку Г. Ландау, применение данного термина для современного периода российской истории некорректно, ибо это явно период революции либо инволюции. Смута, согласно этой трактовке, должна заканчиваться более или менее восстановлением статуса-кво с незначительными флуктуациями в ту или иную сторону. В России же восстановление статуса-кво невозможно.

* * *

Итак, популярный на рубеже 80—90-х гг., особенно в зарубежной публицистике, термин “вторая русская революция” гораздо точнее отражает характер российского социально-политического процесса, чем термин “реформы”. Самой слабой частью этой характеристики является числительное, ибо в зависимости от принятой системы отсчета и объема понятия (революция социальная или только политическая, предполагающая смену лидеров или резкий поворот политического курса) “вторая русская революция” может оказаться как третьей (после 1905 г. и 1917 г.), так и шестой (после 1905 г., февраля 1917 г., октября 1917 г., перехода к НЭПу и сталинского перелома), а скорее всего должна рассматриваться в контексте революционной эпохи (1917—1997 гг.).

Образование. Революция. Закон...М., 1999

ГЛАВА V. РЕВОЛЮЦИЯ КАК КАТАСТРОФА. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ОБЪЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВОЛЮЦИИ*.

... Если под катастрофой понимать деструкцию, разрушение системы, признаками катастрофы обладает любая революция, даже “бархатная”. Если же за революцией следует гражданская война, что бывает отнюдь не редко, она превращается в настоящую национальную трагедию.

* Раздел о катастрофах данной статьи переработан и дополнен автором к настоящему изданию. Статистические данные взяты из работ Н. Ф. Герасименко, С. Ю. Глазьева, И. А. Гундарова, В. Л. Иноземцева, А. М. Кацвы, В. А. Коптюга, В. К. Левашова, Г. В. Осипова, М. Н. Руткевича, Б. А. Ручкина, а также из стенограмм пленарных заседаний и парламентских слушаний Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, статистических сборников и других официальных материалов, представленных в Государственную Думу.

Масштаб, длительность и исторические последствия революционной катастрофы, как будет показано ниже, определяются глубиной разрушения прежней системы. Пока же отметим, что новейшая российская революция не стала исключением, и это неоднократно отмечено в литературе. “Какой процесс мы наблюдаем сегодня?” — задается вопросом, например, Н. Малышев. И сам себе отвечает: “Я бы назвал это революцией и регрессом” (Малышев Н. Россия: от настоящего к будущему // Диалог.— 1994.— № 4—6.— С. 55). Более того, с точки зрения социально-экономических последствий новейшая российская революция превзошла, пожалуй, все другие катастрофы мирного времени в XX в. В 90-х гг. в России совпали (точнее — слились) пики падения по нескольким социальным циклам сразу, результатом чего стали, по крайней мере, семь катастроф.

Катастрофа экономическая. По оценкам группы новосибирских ученых во главе с В. А. Коптюгом, в 1985—1995 гг. сельскохозяйственное производство в стране упало в 3,6 раза, промышленное — в 5,3, в т. ч. в легкой промышленности и оборонном комплексе практически в 10 раз. Кризис поразил и те отрасли, которые являлись для России источником поступления валюты. За 1990—1996 гг. добыча нефти уменьшилась на 44%, угля — на 38%, выработка электроэнергии — на 25%.

За 10 лет в 90-е годы Китай увеличил ВВП примерно с 350 млрд. до триллиона долларов, а Россия сократила тот же показатель примерно с триллиона до 350 млрд. долларов. При нынешнем уровне инвестиций, по расчетам С. Ю. Глазьева, через 8 лет объем экономического потенциала станет еще в 2 раза меньше.

По данным Мирового банка, в 2000 г. Россия оказалась где-то между уровнем средне- и слаборазвитых стран по производству на душу населения, в т. ч. на 25—30% ниже таких стран, как Алжир, Сирия, Тунис. Согласно докладу Евросоюза, для того, чтобы достичь пятидесятипроцентного уровня производительности труда стран-членов ЕС, России потребуется 36 лет. В конце 90-х годов федеральный бюджет громадной страны, пересчитанный в доллары, стал меньше бюджета Греции или Финляндии, в 2 раза — меньше бюджета Швеции, в 3,5 раза — меньше бюджета Голландии!

Катастрофа финансовая. Внешний долг России вырос в 90-е гг. с 70 до 158 млрд. долларов (в 2001 г. размер внешнего долга несколько сократился). По размерам внешнего долга Россия вышла на первое место в мире. Для того, чтобы рассчитаться с иностранными кредиторами, нам пришлось бы несколько лет оставаться без питья и хлеба. В 1998 г. каждый четвертый рубль из российского бюджета уходил на возврат долгов и проценты по ним, в 1999 г. — каждый третий рубль, а в 2000 г. — уже каждые два из пяти рублей. Россия и ее финансовый центр — Москва — в любой момент могут быть объявлены банкротами.

Правительство не может даже посчитать все долги России. Расхождения в оценках составляют 1,5 млрд. долларов. При этом долги по детским пособиям составляли на начало февраля 2001 г. 25 млрд. рублей, долги перед оборонной промышленностью — 160 млрд. рублей.

Одна из главных бед нашей экономики — вывоз капитала за границу. Все ведущие экономисты отмечают, что без резкого сокращения оттока капитала за рубеж выхода из кризиса не будет. Однако признавая, что вывоз капитала из России составляет 20 млрд. долларов в год, Президент в своём Послании Федеральному Собранию страны за 2001 год заявляет, что капитал нельзя держать на привязи, он должен иметь законную свободу перемещаться туда, где выгоднее.

Катастрофа технологическая. Ее особенностью является то, что проявилась она в постреволюционный период и стала следствием инвестиционной политики. На протяжении 90-х гг. под руководством новой власти страна не столько создавала новое, сколько делила и проедала то, что создано трудом предыдущих поколений. За некоторым исключением (банковский сектор, строительство офисных зданий фирм-экспортеров природных ресурсов) уровень инвестиций в 90-е годы упал не в несколько раз (как в промышленном производстве и сельском хозяйстве), а в десятки раз.

В 2001 г. выбытие основных фондов превышало их приращивание примерно в 5 раз. В промышленности России доля оборудования в возрасте до пяти лет составляет сейчас менее 10% против 65% в США. По расчетам С.Ю. Глазьева, для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство основных фондов, нужно увеличить инвестиции, по крайней мере, в 3 раза.

Особенно тяжелое положение сложилось в сельском хозяйстве и в коммунальной сфере. Если в 1990 г. на каждый выбывающий комбайн приходилось 3 вновь поступающих, то в 2000 г. на 1 поступающий — 30 выбывающих. В результате производительность труда в сельском хозяйстве составляет 1,2% от максимального в мире показателя, которого добилась Голландия.

По официальным данным, на нужды ЖКХ выделяется из бюджетов всех уровней лишь около 1/3 необходимых средств. Большая часть предприятий этой сферы по сути дела банкроты, общая сумма их долгов составляла в конце 2000 г. около 260 млрд. рублей. В результате за последние шесть лет

уровень аварийности в жилищно-коммунальной сфере вырос в 10 раз, 2,5 млн. граждан живут в ветхом и аварийном жилье, 11% жилищного фонда (по данным Госстроя РФ) требует капитального ремонта. В таких условиях удивляться тому, что зимой замерзают не отдельные дома, а целые регионы, не приходится. Не случайно по инициативе бывшего руководителя фракции “Единство” в Госдуме, а ныне министра внутренних дел Б. Грызлова создана специальная комиссия по 2003 году, когда ожидается период наиболее частых и крупных технологических аварий.

Катастрофа социальная. По расчетам названной группы новосибирских ученых, в 1985—1995 гг. средняя заработная плата в стране упала более чем в 3 раза (со 199 до 62 рублей с учетом инфляции); средняя пенсия — в 2,5 раза (с 74,5 до примерно 30 рублей). После кризиса 1998 г. эти показатели надо увеличить, по меньшей мере, вдвое. Таким образом, средний уровень жизни упал в 4—5 раз, а у некоторых групп населения — в 7 раз и более. И до сих пор продолжаются споры, восстановлен ли так называемый “докризисный” уровень зарплат и пенсий первой половины 1998 г. Честный труд вообще, квалифицированный — в особенности, обесценился как никогда, причем хуже всего платят работникам оборонных предприятий, медицины, науки, образования, культуры и сельского хозяйства.

По данным организации “Европеен чилдренс траст”, в 10 посткоммунистических странах Восточной Европы и бывшего СССР за чертой или у черты бедности 160 млн. человек (около 40% населения). Среди них около 50 млн. детей. За 10 лет их количество выросло в 10 раз. Из них 40 млн. детей в странах бывшего СССР.

Приведенные данные свидетельствуют о колоссальном и все более углубляющемся разрыве между тончайшим слоем богатых и нищающим большинством населения. По данным Г. В. Осипова, децильный коэффициент (соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан) возрос с 5 в СССР до, как минимум, 12—15 в современной России, что превышает аналогичный показатель многих стран Западной Европы и США. Другие эксперты дают более высокие проценты разрыва.

Еще одно “достижение реформ” — массовая безработица. По оценкам ФНПР, в России в середине 1998 г. было около 2 млн. зарегистрированных безработных, около 8,5 млн. ищущих работу, а с учетом скрытой безработицы общее количество безработных составило около 20 млн. человек! Несмотря на небольшой рост производства в 1999—2001 гг., безработица по-прежнему остаётся серьезной социальной проблемой.

Катастрофа демографическая, производная от других и может быть самая опасная. Начиная с 1992 г. наблюдается резкое снижение рождаемости и рост смертности, что привело к угрожающему сокращению численности населения России. С 1992 по 1999 гг. население России сократилось со 148 млн. 300 тыс. до 145,5 млн., причем это явление характерно почти для всех регионов страны. Если в 1990 г. естественная убыль населения зафиксирована только в 9 регионах, то в 1999 г. — в 74 республиках, краях, областях. При сохранении нынешних тенденций, по самым оптимистическим прогнозам, население России в ближайшие 25 лет сократится на 10—15 млн. человек. По другим прогнозам, к 2025 году численность населения России не будет превышать 100 млн., а при экстраполяции тех же тенденций в 2050 г. россиян будет 75 млн., а в 2075 — 50—55 млн. человек... Учитывая, что, по прогнозам ООН, население Китая составит к 2025 г. 1,5 млрд. человек, Индии — 1 млрд. 600 тыс., что численность населения США также возрастет на 50 млн. и составит 325 млн. человек, можно с уверенностью предположить возникновение трудно разрешимых геополитических проблем.

Катастрофа нравственная. Её первое проявление — криминализация общества. В конце 90-х гг., по данным международных исследований, среди 85 стран по уровню коррупции Россия вошла в десятку самых криминальных, заняв 76-е место! Бездуховность насаждается “верхами”, которые не только заповили эфир воинствующей пошлостью, но открыто заявляют, что деньги не пахнут, и сами подают пример. Нельзя не согласиться с мнением М. Н. Руткевича, что “границы между законными и незаконными действиями в бизнесе и государственном управлении размыты настолько, что оба верхних слоя российского общества 90-х гг.— новую буржуазию и новую бюрократию — можно считать криминальными по своему происхождению, способу получения доходов, уже нажитому имуществу” (Руткевич М. Н. Процессы социальной деградации в российском обществе // Социс.— 1998.— № 6.— С. 7).

Социологические исследования последних лет показывают: свыше 50% молодых граждан России признают, что главным для них в жизни являются деньги. При этом 20% считают “возможным” и “нормальным” вступление в брак по расчету, 20% — получение взятки, около 10% — взять деньги силой или “взять, что плохо лежит”. В сознании 17-летних криминальный авторитет ценится выше

профессии милиционера, профессия телохранителя – выше офицера вооруженных сил и депутата законодательного органа, а эти профессии, в свою очередь,— выше профессии инженера, научного работника, рабочего.

С 1 января 1987 г. по май 2001 г. в России зарегистрировано более 110 тыс. больных с диагнозом “ВИЧ-инфекция”, причем за 2000 год СПИДом в России заболело больше людей, чем за предыдущие 10 лет. По оценкам профессора М. Покровского, количество реально инфицированных составляет 400—500 тыс. человек и в ближайшие 5 лет возможен рост до 4 млн. СПИД превращается в мощный фактор депопуляции.

Россия никогда не чуждалась водки, а теперь алкоголизм стал массовым и соединился с наркоманией. По данным управления по борьбе с таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета России, оборот наркотиков в Российской Федерации составляет 2 млрд. долларов — почти десятая часть расходной части федерального бюджета. По оценкам МВД, в России до 4 млн. человек потребляют наркотики. Потенциальными наркоманами являются до 80% подростков. Среднестатистический московский наркоман имеет возраст 15 лет, но появились уже и 8-летние наркоманы. Потребление спирта в России составляет от 14 до 18 литров на человека, включая новорожденных и больных, при критическом для национальной безопасности уровне в 8 литров.

Катастрофа геополитическая. Советского Союза (большой России) больше нет, Россия утратила статус сверхдержавы. По оценкам Г. В. Осипова, по 19 из 20 показателей национальной безопасности страна опустилась ниже “красной черты”. Мир фактически стал однополюсным, границы политического влияния и экономического господства единственной на сегодня сверхдержавы — США — значительно расширились. НАТО превратилось в самый мощный в истории военно-политический блок; на смену дипломатии, когда это выгодно Западу, приходят силовые решения, о чем ярко свидетельствуют бомбардировки Ирака и Югославии.

Обещание не расширять НАТО, данное в период объединения Германии, ныне грубо нарушено, три бывших союзника России по Варшавскому договору: Чехия, Венгрия и Польша,— уже приняты в Североатлантический блок, а вопрос о приеме еще девяти, включая бывшие советские прибалтийские республики, рассматривается. Никакие заверения ныне действующих политиков о том, что расширение НАТО не угрожает России, не могут успокоить общественное мнение. В статье “Цели НАТО под вопросом” бывший госсекретарь США Г. Киссинджер откровенно пишет о том, что “любое расширение НАТО неминуемо приведет к проведению новых линий разделов” (цит. по: Осипов Г. В. Россия: Национальная идея. Социальные интересы и приоритеты.— С. 102). Не случайно заявление В. В. Путина о возможности вступления России в НАТО фактически осталось без ответа. В результате исчезновения Советского блока не сократилось, а значительно возросло количество региональных вооруженных конфликтов, способных перерасти в конфликт глобальный.

Каждая из названных выше катастроф может служить или уже послужила предметом крупного самостоятельного исследования. Количество фактов, иллюстрирующих каждую из катастроф, без труда можно увеличить на несколько порядков. Однако задача настоящего раздела в другом, а именно: показать, что и в данном отношении российская социально-политическая ситуация 90-х гг. подпадает под общую типологическую характеристику революционной катастрофы.

Вышеназванные процессы характерны отнюдь не только для России и потому не могут быть объяснены главным образом нашей национальной ментальностью. Хорошо известно, что положение в большинстве бывших республик Советского Союза еще хуже. Не избежали серьезного падения производства и уровня жизни страны Восточной Европы. Так, в 1990 г. в Польше на 24% сократилось промышленное производство, 20% населения имели доходы ниже прожиточного минимума, возникла составившая 581% гиперинфляция. В 1991 г. промышленное производство сократилось еще на 14%, доля населения, живущего ниже прожиточного минимума, увеличилась в 1992 г. на 41% (Зубачевский В. А. История Польши, Венгрии, Чехии, Словакии (конец 80-х — середина 90-х гг. XX века).— Омск, 1996.— С. 12, 15, 21).

В Венгрии объем промышленного производства в 1991 году сократился на 44%, а объем сельскохозяйственного — на 45 процентов. Количество безработных увеличилось с 1,7% в 1990 г. до 12% в 1994 г. Даже в самой благополучной с экономической точки зрения Чехии реальная зарплата снизилась в 1990—1994 гг. на 18%, а по ВВП на душу населения Чехия до сих пор отстает от Греции, занимающей последнее место в ЕС (Зубачевский В. А. История Польши, Венгрии, Чехии, Словакии (конец 80-х — середина 90-х гг. XX века).— Омск, 1996.— С. 37, 38, 58).

Итак, не каждая катастрофа — революция, но каждая революция — в той или иной степени катастрофа. Из такого понимания революции как катастрофы непосредственно вытекает ситуационная закономерность, согласно которой первоначальные ее (революции) результаты

неизбежно оказываются противоположными объявленным лозунгам.

В самом деле, увлечь народ на революционные действия, наряду с ненавистью к прежней системе, могут лишь обещания близкого “светлого будущего”. Идеалы человечества потому и идеалы, что они возвышенны, чисты и прекрасны. Но идеалы революции возвышенны, чисты и прекрасны вдвойне. Среди них мы почти всегда находим свободу, равенство, братство, народовластие, чуть реже — независимость, просвещение и т. п. Однако в условиях катастроф все эти идеалы обычно превращаются в противоположность. Если бы “железнобоким” армии Кромвеля, состоявшей в основном из свободного крестьянства, кто-нибудь рассказал, что оно будет экономически уничтожено и если бы при том ему поверили; если бы французы — участники штурма Бастилии — точно знали, что за этим последуют сто лет революций, войн, а временами террора; если бы российские мужики, восставшие против армий Колчака и Деникина, предвидели насильственную коллективизацию, террор 30-х и нищету 40-х, не известно, решились бы они тогда на свой исторический выбор или нет. Впрочем, может и хорошо, что история не знает сослагательного наклонения, иначе она могла бы остановиться, и Францией до сих пор управляли бы Бурбоны, а Россией — Романовы.

Кстати сказать, на закон противоречия объявленных лозунгов и первоначальных результатов революций указали не кто-нибудь, а марксисты. Остроумные и глубокие наблюдения на эту тему сделал Фридрих Энгельс в известной работе “Развитие социализма от утопии к науке”: “...подготавливавшие революцию французские философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они требовали установления разумного государства, разумного общества... И вот, когда французская революция воплотила в действительность это общество разума и это государство разума, то новые учреждения оказались... отнюдь не абсолютно разумными. Государство разума потерпело полное крушение. Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора... Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн. Не более посчастливилось и обществу разума. Противоположность между богатыми и бедными... еще более обострилась... Чистоган все более и более становится... единственным связующим элементом этого общества. <...> Место насильственного угнетения занял подкуп, а вместо меча главнейшим рычагом общественной власти стали деньги. <...> Одним словом, установленные “победой разума” общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей” (Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 19.— С. 193—194).

Увы, ирония истории, а точнее, закономерность революций такова, что по многим параметрам установленная победой Октябрьской революции советская действительность оказалась злой, вызывающей разочарование карикатурой на блестящие обещания социалистов. И не только потому, что действительность была так уж плоха: по целому ряду параметров послереволюционная действительность во Франции XIX в. и в России XX в. была лучше, чем дореволюционная. Однако чрезмерно завышены были обещания революционеров, и поэтому разрыв ощущался особенно остро.

Осознанно или неосознанно отражая названную выше закономерность в художественной форме, вьнуки победителей Октября (1917 г.) в конце 80-х гг. пели:

Черная смородина —
Деда сны напрасные!
Черная смородина,
Где сажали — красную!

Но не лучше оказалась и участь победителей “Августа 1991 г.” и нового Октября (1993 г.): явившись миру в белых одеждах поборников ненасилия, гуманизма и прав человека, они закончили расстрелом Парламента, чеченской войной и построением “бандитского капитализма”.

Для того, чтобы проверить гипотезу о противоположности объявленных целей и непосредственных результатов как ситуационной закономерности на примере новейшей российской революции, достаточно сравнить ее первоначальные лозунги с действительностью второй половины 90-х гг.

Народ, руководимый революционерами новейшей формации, боролся за то, чтобы преодолеть застой.— Теперь застой сменился на кризис — самый глубокий кризис в мирное время в истории XX века. По статистическим оценкам, восстановление экономического потенциала страны на уровне 1990 г. произойдет не ранее 2010 г. Два десятилетия для отечественной экономической истории потеряны. “Застой” для многих стал символом процветания.

Народ во главе с революционными вождями боролся за достойный уровень жизни.— В 90-х гг. уровень жизни большинства населения снизился в 2—3 и более раза по различным общественным

группам.

Народ во главе с новыми лидерами боролся за социальную справедливость, против нетрудового социального неравенства и власти теневого капитала.— Ныне по уровню социального неравенства страна “догнала и перегнала” не только Европу, но и Северную Америку, а иностранный капитал стал полновластным хозяином во многих отраслях и регионах России. Средства массовой информации со ссылкой на зарубежных экспертов периодически сообщают о том, что российская экономика является самой криминальной в мире.

Народ боролся против всевластия бюрократии и бюрократических привилегий.— Ныне бюрократический аппарат вырос в России в несколько раз, его привилегии умножились, а бывшие критики интегрированы в систему, стали частью бюрократии.

В конце 80-х гг. будущие революционеры собирали в столицах многотысячные митинги под лозунгом: “Власть — Советам!” — После расстрела российского Дома Советов в 1993 г. один из этих революционеров, ставший Президентом, торжественно объявил, что с властью Советов покончено навсегда.

Народ боролся за демократию и, казалось бы, победил: прежний антидемократический режим рухнул.— Однако новый режим в целом идет по пути свертывания демократии: министры, чиновники администрации, большинство судей назначаются без согласования с кем бы то ни было; плюрализм в электронных средствах массовой информации сведен к минимуму; провозглашенные новой Конституцией права человека неоднократно нарушались указами Президента; прослушивание телефонных и нетелефонных разговоров, в том числе высокопоставленных должностных лиц, стало обыденностью.

Народы во главе с лидерами этнических движений в большинстве своем боролись не за разрушение, а за обновление союзного государства.— Ныне Советского Союза (российского суперэтнуса) более не существует, а бывшие российские инициаторы беловежских соглашений, ставшие государственниками, оплакивают его и призывают к новой интеграции.

Народ, руководимый новыми лидерами — интеллектуалами, боролся за возрождение духовности и культуры.— Теперь власть имущие обычно заявляют, что денег на образование и культуру нет и не будет, что президентский Указ № 1 и соответствующие законы необходимо отменить. В то же время на экранах и в эфире господствует откровенная пошлость и бездуховность.

Если верна популярная в конце 80-х гг. формула, согласно которой революция пожирает своих детей, то “детьми” ее могут быть не только вожди и деятели революции, выпустившие “джина из бутылки”, но и первоначальные прекраснородные революционные лозунги. На судьбе одного из таких лозунгов хотелось бы остановиться чуть подробнее, прибегнув в очередной раз к испытанному способу цитирования собственной работы, написанной летом 1992 г.

“Претерпела метаморфозу и другая благородная демократическая идея периода перестройки — намерение преодолеть отчуждение человека от собственности, сделать его хозяином. Слов нет, это действительно необходимо. Но почему-то при этом вспоминается известный анекдот эпохи “застоя”. Делегат XXVI Съезда КПСС возвращается домой в свой северный край. Ему, естественно, устраивают встречу с народом и, разумеется, расспрашивают о том, что он слышал и видел на съезде. На это наш сын дикой природы и простая душа отвечает: “Я слышал: главное — все для человека, все на благо человека! И я даже видел этого человека!” Конечно, подразумевался незабвенный товарищ Леонид Ильич Брежнев.

Так и я сегодня хочу спросить о том, какого именно человека хотят сделать хозяином: министерского чиновника, который становится руководителем концерна? Денежного магната, нажившего деньги на финансовых махинациях и почти наверняка дававшего взятки тем же чиновникам? Либо работника предприятия, вместе с другими работниками ставшего его совладельцем, через Совет коллектива управляющего предприятием, нанимающего директора и других квалифицированных менеджеров и т. п.? Есть силы, выступающие за первый вариант (например, “Научно-промышленный союз”); есть сторонники второго (большинство лидеров партий “Демократической России”); есть и приверженцы третьего (“Союз трудовых коллективов”, формирующаяся Партия Труда). Призывать же просто, сделать человека хозяином, не уточняя, о каком именно человеке идет речь,— значит лукавить и не более того. Ведь совершенно очевидно, что каждая система под “человеком” понимала представителя правящей в ней элиты: административно-бюрократический социализм — “ответственного работника”, высокопоставленного “управдома”; наступавший криминально-бюрократический капитализм — нувориша либо того же “управдома”, в противоположность “великому комбинатору” перекавалифицировавшегося в миллионеры” (Смолин О. Н. Куда несет нас рок событий // Иртыш. Альманах Омской писательской организации Союза

писателей РФ.— 1992.— № 2.— С. 12—13).

Число подобного рода противопоставлений можно было бы множить без труда. Однако и приведенных вполне достаточно для подтверждения тезиса о революционном характере социально-политического процесса в России 90-х гг. и о противоположности объявленных целей и первоначальных результатов революции. Все революции начинаются с лозунга, выражающего почти всеобщее ощущение: так дальше жить нельзя! Однако порождают они нередко такие бедствия, по сравнению с которыми предреволюционное положение выглядит как вполне благополучное, что порождает социальную ностальгию в некоторых общественных группах. “Как я хочу в эпоху застоя”,— не раз приходилось слышать автору этой книги от разных людей. Однако даже те, кто так говорит, на самом деле имеют в виду отнюдь не прежнюю систему как таковую, но лишь ее положительные стороны и прежде всего — общественную стабильность.

В этой связи стоит заметить, что данная противоположность, наряду с феноменом “маятника” и характеристикой революции как всеобщего конфликта, о которых речь пойдет ниже, является, по-видимому, формой проявления упоминавшегося ранее более общего социально-философского закона — закона противоречивости, более того, антагонистичности общественного прогресса. Сама же революция представляет собой момент истории, в котором этот закон проявляется наиболее ярко, а антагонистический характер общественного прогресса, включая переход явлений в свою противоположность, наиболее очевиден.

Образование. Революция. Закон... М., 1999

ГЛАВА VI. РЕВОЛЮЦИЯ КАК ОТРИЦАНИЕ. ФЕНОМЕН “МАЯТНИКА”

Реализуясь в точке бифуркации (она же — граница меры, момент скачка), революция, несомненно, представляет собой отрицание в общефилософском смысле. Одновременно она является отрицанием и в смысле социально-психологическом. Давно и хорошо известно: одним из главных психологических факторов революции является категорическое отторжение старой системы, и в этом смысле различия между революционерами разных народов и направлений мало существенны. “Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног”,— слышится в гимне Великой французской революции. “Весь мир насилья мы разрушим до основанья...”,— вторит ему “Интернационал”, ставший гимном революции Октябрьской. Мелодия Глинки, использованная в качестве гимна новейшей российской революции, официального текста гимна пока не имеет. Но в массовой песне и текстах рок-композиций, во многом определявших и определяющих стереотипы массового сознания на рубеже 80—90-х гг., на разные лады звучал один и тот же рефрен: “Перемен! Мы ждем перемен!”

И неважно в данном случае, ведут ли перемены к лучшему. События вполне могут развиваться и по сценарию, зафиксированному в печальном афоризме Станислава Ежи Леца: ну бейся, бейся головой о стену камеры! Интересно, что ты почувствуешь, когда пробьешь ее и увидишь, что там следующая камера?.. Неотъемлемый признак революционного сознания состоит в том, что старое ненавистно уже потому, что оно старое, а “свет в конце тоннеля” видится только впереди.

Как уже отмечалось выше, стремление к тотальному отрицанию усиливается, если предреволюционная власть создает впечатление бездействия (справедливое или нет — в данном случае неважно), не проводит назревших реформ либо проводит их хаотически, бессистемно. В таком случае настроение народа все более и более выражается формулой: лучше ужасный конец, чем ужас без конца! А новая революционная власть, начав действовать, вне зависимости от программы действий, в особенности в странах с менталитетом, аналогичным российскому, воспринимается как представитель порядка в беспорядке. Согласно П. В. Волобуеву и В. П. Булдакову, авторам наиболее серьезных в последнее время исследований по истории Октябрьской революции, именно так была воспринята власть большевиков в 1917 г. (Волобуев П. В., Булдаков В. П. Октябрьская революция: Новые подходы к изучению // Вопросы истории.— 1996.— № 5—6.— С. 31). Социологические опросы показывают, что широкие слои народа, в том числе люди с левыми взглядами и установками, с облегчением, если не с энтузиазмом, восприняли в конце 1991 г. начало “шоковой терапии”. Как участник событий свидетельствую, что примерно такие же настроения преобладали среди депутатов “прокоммунистического” V Съезда народных депутатов России, которые одобрили этот курс, не видя ни программы, ни плана мероприятий и даже не пытаясь просчитать последствий.

Революция, несомненно, представляет собой отрицание и в социально-политическом смысле.

При этом опять-таки революционеры разных эпох и направлений сходились в следующем: чем более радикально и стремительно производится разрушение прежней системы, тем быстрее будет происходить по-следующее движение вперед. Так утверждали многие марксисты (Ленин В. И. Очередные задачи Совет-ской власти // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 36.— С. 205), так полагают и современные российские “радикальные реформаторы”, например, А. Стреляный, непрерывно повторяющий в передачах радио “Свобода”, что “нельзя рубить кошке хвост по частям”. История нового времени, правда, этого тезиса не подтверждает. Не касаясь Соединенных Штатов, где феодализма никогда не было, можно сравнить Францию, где произошла наиболее радикальная революция, с Англией и Германией, где революции имели более умеренный характер. Сравнение темпов и уровня постреволюционного экономического развития окажется не в пользу первой, поскольку она сначала уступала Англии, а затем и Германии. По-видимому, это объясняется тем, что более радикальные революции являются и более масштабными катастрофами, разрушая не только отжившие социальные отношения и институты, но также на некоторое время и основы общецивилизационного развития. Что же касается афористической “кошки”, то здесь мы имеем типичную подмену тезиса: вопрос должен был стоять не о том, как следовало “рубить хвост”, а о том, следовало ли “рубить” его вообще.

К сожалению, история революций меньше всего учит радикальных революционеров, тогда как при более спокойной позиции из нее можно было бы извлечь поистине бесценные уроки. Автор попытался это сделать еще в 1990 г.— за год до окончания Советской эпохи, впервые получив слово на общегородском собрании, посвященном 73-летию Октября. Прочитав лишь одно место из этого выступления, позднее опубликованного в сборнике “Куда несет нас рок событий”.

“Наконец, третий урок — урок разумной меры. Весь мировой опыт говорит нам, что если революционный “маятник” слишком далеко идет влево, он затем с такой же силой откатывается в противоположную сторону, и так до тех пор, пока не установится некоторое равновесие. И наоборот: те страны, где размах колебаний меньше, быстрее движутся по пути прогресса. Слова пролетарского гимна “до основанья, а затем...” многими, слишком многими понимались буквально, поэтому новый мир оказался миром насилия.

Надо понять: мир, даже если он очень не нравится, нельзя разрушать до основания, ибо из-под его развалин выглядывают остатки еще более старого мира. Когда до основания разрушили российский капитализм, в сталинском социализме обнаружили черты феодального и даже азиатского способа производства. Если теперь до основания разрушить нынешний мир, это будет возвращением не на путь цивилизации, а к первоначальному, бесчеловечному капитализму.

Стране нужен третий путь: не бюрократический социализм, за который выступают консерваторы, и не первоначальный капитализм, которого открыто или завуалированно требуют псевдодемократы. Борьба, которая идет между ними, это не борьба сторонников и противников свободы, а борьба реакции с контрреволюцией. Реакция мечтает вернуться назад, в 30-е, контрреволюция — еще дальше назад, в 1917-й, хотя бы ценой столетнего отставания” (Смолин О. Н. Куда несет нас рок событий. Политологическая публицистика 1990—1995 гг.— М.: ИПТК “Логос”, 1995.— С. 25).

Теоретическая работа — не политический доклад. В ней следует воздерживаться от жестких политических характеристик направлений, лидеров и событий, но, напротив, пытаться понять логику последних. Однако основная мысль из приведенного выше отрывка представляется мне заслуживающей внимания и в теоретическом отношении. Дело в том, что, “запустив” механизм революционного отрицания, субъекты революции вольно или невольно вызывают к жизни еще одну ситуационную закономерность революции — маятникообразное движение социально-политического процесса.

В принципе цикличность в той или иной мере характерна для любых процессов, происходящих в обществе. Объяснение ей можно давать как на общефилософском уровне (закон отрицания отрицания, принцип необходимого разнообразия и т. п.), так и на уровне конкретно-научном. Хорошо известны экономические циклы, открытые Марксом в “Капитале”, длинные волны экономических колебаний Кондратьева, циклы Питирима Сорокина, ряд Фибоначчи и другие. Колебания революционного “маятника” качественно отличаются от обычных циклов как “рваным” ритмом, почти не поддающимся математической формализации, так и особенно амплитудой (по принципу: “из крайности — в крайность”).

Проявления рассматриваемой закономерности могут быть самыми разнообразными. Едва ли не первыми обратили на нее внимание историки Французской революции, правда, под другим терминологическим обозначением — “качели”. Так были названы победы на выборах во второй половине 90-х гг. XVIII в. попеременно соперничающих политических партий. Для нас более интересно

другое проявление этой закономерности — смещение политического курса революционного правительства влево или вправо, самими правительствами или вместе с ними, в результате политических переворотов или без них. Пользуясь этой закономерностью, как было показано выше, автор и дал прогноз ближайших результатов новейшей российской революции, который в целом подтвердился. Другим примером может послужить проанализированный еще Аристотелем закон политического цикла, согласно которому в случае, если авторитарный режим сменяется неограниченной демократией или охлократией, за ним неизбежно наступает диктатура (Аристотель. Политика. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1911.— С. 164—165). Эта закономерность действует не только в ситуации революции, но в ней проявляется наиболее часто. И, наконец, “закон маятника” может проявляться в смене типов политического лидера или в смене политическим лидером имиджа, лозунгов, характера политики.

Удивительные метаморфозы политических лидеров революционных эпох неоднократно описывались в литературе, правда, с разной степенью объективности. Если, например, эволюция Наполеона от революционного генерала до императора-завоевателя проанализирована достаточно глубоко (см., например, Манфред А. З. Наполеон Бонапарт.— М.: Мысль, 1989.— 733 с.), то лидеры большевизма лишь ждут своих объективных исследователей: метаморфозы их облика, помимо собственной эволюции, связаны и с маятникообразным движением исторической науки. Что касается политических лидеров новейшей российской революции, то резкие перемены их политической линии, не укладывающиеся в рамки тактической гибкости, очевидны и сторонникам, и противникам. Так, известный культуролог и политический публицист, периодически критикующий нынешний режим справа, Л. Баткин в конце 1992 г. насчитал уже 12 различных имиджей действующего Президента России (Баткин Л. Ельцин тринадцатый // Огонек.— 1992.— № 50—52.— С. 4—5). По мнению Томаша Крауса, критикующего российскую политическую систему слева, лидер “второй русской революции” за последние 10 лет выступал, по крайней мере, в трех лицах:

в 1988—1989 гг.— как неоленинист, критик перестройки слева, сторонник “гуманного социализма”;

в 1991 г.— как сторонник буржуазной демократии, отказавшийся сначала от государственного социализма, а после августа — и от социализма вообще;

в 1993 г.— как диктатор, спаситель Отечества (см. об этом: Хасбулатов Р. И. Великая российская трагедия. Т. 1.— М.: ТОО СИМС, 1994.— С. 22—23).

В 1992 г. автор этих строк в связи с приездом Президента России в Омск обратился к нему через газету с открытым письмом, которое озаглавил “Поворот на 180 или на 360?” (Смолин О. Н. Куда несет нас рок событий. Политологическая публицистика 1990—1995 гг.— М.: ИПТК “Логос”, 1995.— С. 83—87). В этот же период на вопрос “Поддерживаете ли вы Ельцина?”, задаваемый в различных аудиториях, приходилось отвечать вопросом: какого именно? В развернутом виде в одной из публикаций ответ выглядел следующим образом:

“... и действительно нужно дать Ельцину шанс, вот только хорошо бы уточнить: как это лучше сделать, какой именно шанс и, если угодно, какому Ельцину:

тому, который на I Съезде российских депутатов категорически возражает против повышения цен, или же тому, который на V Съезде требует “отпустить” (т. е. поднять) их все сразу?

тому, который выступает против союзной бюрократии, или же тому, который санкционирует создание новых бюрократических структур в России (Указ об объединении органов внутренних дел и госбезопасности вообще вызвал шок у честных либералов в Российском парламенте);

тому, который в феврале—марте 1991 г. требует отправить Горбачева в отставку, или тому, который в апреле из Парижа призывает спасти Горбачева, затем еще раз спасает его в августе, чтобы окончательно отправить его в отставку в декабре?

тому, который опять же в марте 1991 г. заявляет, что надо драться с врагами, даже с женщинами, или тому, который несколько недель спустя предлагает нечто вроде национального примирения?

тому, который на III Съезде депутатов России говорит, что необходимо возрождение культуры, или же тому, который на VI Съезде заявляет, что на культуру денег нет?

тому, который в Кузбассе обещает шахтерам, что решающую роль в приватизации будут играть трудовые коллективы, или же тому, который подписывает российский Закон, где последнее слово остается за новыми государственными чиновниками? А может быть тому, который в самом конце 1991 г. издает Указ о программе приватизации, противоречащий им же подписанному Закону?

тому, который призывает бывшие автономии: берите суверенитета “сколько проглотите”, или же тому, который, спустя год, признается: “Я увлекся раздачей суверенитетов”?

тому, кто от имени России подставлял могучее плечо прибалтийским государствам, помогая им

разрушать Союз, или же тому, кто пытался ввести чрезвычайное положение в Чечено-Ингушетии, дабы не допустить разрушения Российской Федерации?

тому, кто предъявлял территориальные претензии Украине, по существу, пытаясь занять место разрушенного “Центра”, или же тому, кто признал нерушимость границ, согласившись тем самым на расчленение русской нации?

тому, который летом 1990 г. предлагал превратить КПСС в блок демократических фракций социалистической ориентации, или тому, который через год с небольшим фактически запретил свою бывшую партию?”

Подобные очевидные метаморфозы одни — представители радикальной оппозиции — пытались объяснить субъективно-психологически (отсутствием убеждений, предательством прежних идеалов и т. п.), другие — авторитарными традициями российских царей, генсеков и даже героев народных сказок (см., например: Хасбулатов Р. И. Великая российская трагедия. Т. 1.— М.: ТОО СИМС, 1994.— С. 23). Представляется, однако, что корень проблемы лежит глубже, а описанный феномен выражает одну из ситуационных закономерностей революции.

Во-первых, как уже говорилось, повороты и изломы революции трудно поддаются прогнозированию. В таких условиях лидер нередко не ведет за собой события, а идет за событиями. Его несут волны массовых настроений, которые, в свою очередь, подчиняются принципу “маятника”. Последнее отмечено целым рядом исследователей. Приведем лишь высказывание из работы А. И. Герцена “С того берега”, относящееся к революции 1848 г. во Франции: “Массы полны тайных влечений, полны страстных порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией, у них она не остается по-нашему теорией, она у них тотчас переходит в действие, им оттого и трудно привить мысль, что она не шутка для них. Оттого они иногда обгоняют самых смелых мыслителей, увлекают их поневоле, покидают среди дороги тех, которым поклонялись вчера, и отстают от других вопреки очевидности; они дети, они женщины, они капризны, бурны, непостоянны” (Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. Т. VI.— М.: Изд. АН СССР, 1955.— С. 68).

Во-вторых, каждый новый этап революции требует от лидера новых лозунгов, новых действий, более или менее соответствующих господствующим настроениям. В таких условиях политические лидеры должны либо заменяться (конституционалисты, жирондисты, якобинцы во Франции), либо изменяться (Наполеон, Ленин, Ельцин). Мы специально выбрали лидеров с противоположными типом мировоззрения и классовыми ориентациями, чтобы показать: эта закономерность является не столько психологической, сколько политической, в основе своей объективной.

Но при этом субъективный компонент в ней безусловно присутствует, только интерпретировать его следует не в примитивном, а в более глубоком философско-психологическом смысле. Может быть, в революции как никогда проявляется проанализированный Эрихом Фроммом механизм самоограничения человеком его собственной свободы, суть которого (механизма) состоит в следующем: в цепи логически и психологически связанных действий человека наиболее свободным является первое действие. Каждое следующее действие предопределено предыдущим, и тем более, чем длиннее “цепь”. В конце концов человек уже не может разорвать им же заданный ход событий, и свобода его оказывается иллюзией (Фромм Э. Душа человека.— М.: Республика. 1992.— С. 94—102).

“Запустив” механизм революции и все более удаляясь от ее начала, политический лидер все более и более отрезает себе пути к отступлению. “Вперед” (или “Назад”) толкает его не только вырабатывающаяся привычка к власти и вера в свое предназначение, но нередко нелегальный (противозаконный) характер его действий, которые, как правило, связаны с применением насилия, и накал социальной борьбы, грозящий лидеру не только потерей власти, но одновременно с нею — свободы или жизни. Для революционной истории, как, может быть, ни для какой другой, справедлива фраза: в историю можно войти, но выйти из нее невозможно. Пути назад, в прежнюю реальность, из революции уже нет. Революционному лидеру остается либо совершать пируэты на мостике корабля, который он же сам и раскачивал, либо быть выброшенным за борт.

Здесь рассмотрены лишь некоторые формы революционного отрицания и примеры проявления феномена “маятника”. Количество тех и других можно было бы без труда увеличить на несколько порядков. В этом, однако, нет необходимости, тем более что тема получит продолжение в последующих разделах работы в связи с анализом других параметров революции как исторической ситуации. В данном случае важно еще раз подчеркнуть, что, во-первых, глобальное отрицание прежней общественной системы и связанный с ним маятникообразный характер социально-политического процесса представляют собой не внешние и случайные, но необходимые и существенные определения революции как исторической ситуации; что, во-вторых, российский социально-политический процесс 90-х гг. этим определениям вполне отвечает, а это, в свою очередь,

следует признать очередным доказательством его (процесса) революционного характера.

Образование. Революция. Закон...М., 1999

ГЛАВА VII. РЕВОЛЮЦИЯ КАК ВСЕОБЩИЙ КОНФЛИКТ

Подобно другим рассмотренным категориальным парам, понятия “революция” и “конфликт” являются взаимопересекающимися. С одной стороны, более общим оказывается понятие конфликта, ибо не каждый конфликт — революция, но каждая революция — конфликт. В этом отношении конфликт выступает как родовое понятие, а революция — как вид конфликта. С другой стороны, понятие революции шире по объему, поскольку революция, конечно, не сводится к конфликту и даже всей совокупности конфликтов, развертывающихся в революционный период.

Понятие, источники возникновения и пути разрешения социально-политических конфликтов по-разному трактуются различными философами, социологами и политологами как зарубежными (Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг), так и отечественными (В. О. Рукавишников, А. Г. Здравомыслов, А. В. Дмитриев, М. О. Мнацаканян и др.). В данном разделе работы эти дискуссии будут затронуты лишь в той мере, в какой они касаются ее предмета. Для этих целей в качестве рабочего вполне может быть использовано следующее определение Л. С. Санистебана: “...конфликт — это тип социального отношения, в котором его участники противостоят друг другу по причине несовместимых (или полагаемых ими таковыми) целей”; “конфликт — борьба между социальными группами (кастами, сословиями, классами) одной политической системы или столкновение между различными политическими системами” (Санистебан Л. С. Основы политической науки.— М.: МП “Владан”, 1992.— С. 104, 120).

В качестве теоретического парадокса (или курьеза) отметим, между прочим, лишь конфликтологическую концепцию американских исследователей Р. Макка и Р. Флайда, с которой безусловно соглашается Ю. Г. Запрудский. Согласно этой концепции, конфликтная ситуация характеризуется наличием, как минимум, двух сторон, отношения между которыми возникают на базе какого-либо дефицита и построены таким образом, что стороны стремятся к получению выгоды за счет друг друга, причем их действия направлены на достижение несовместимых и взаимоисключающих целей (см.: Запрудский Ю. Г. Внутри конфликта // Социс.— 1993.— № 7. С. 51).

Даже невооруженным глазом нельзя не заметить, что данная концепция, во-первых, фиксирует лишь некоторые причины конфликтов, причем, по-видимому, не самые распространенные; во-вторых, сама она является более чем “прозрачным” отражением рыночной психологии “экономического человека”; в-третьих, она создает ложное представление, будто бездефицитное общество есть вместе с тем и общество бес-конфликтное— представление, которое может стать ложным ориентиром для практической политики.

Тем не менее в отношении некоторых революций, и в особенности новейшей российской революции, именно эта концепция оказалась “истиной первого порядка”, фиксирующей поверхностную связь явлений. Как известно, Февральская революция 1917 г. началась с “хлебных бунтов”, т. е. непосредственным толчком для нее послужил абсолютный дефицит продовольствия. Напротив, в канун “второй русской революции” никто не голодал. Однако и здесь дефицит сыграл роль едва ли не главного непосредственного фактора, “революционизирующего” сознание масс — правда, уже не в абсолютной, а в относительной форме, как дефицит товаров по отношению к наличной денежной массе. Так, согласно одному из опросов 1989 г., даже среди российской интеллигенции (высококвалифицированных специалистов) 73,9% заявили, что убедить народ в успехе перестройки может прежде всего появление продуктов на прилавках. Иначе говоря, проблема дефицита ощущалась как наиболее острая. Можно, конечно, видеть здесь проявление своеобразного фетишизма, ибо налицо поклонение одному лишь виду товаров (см.: Кара-Мурза С. Рыночный обман. Осмысливая мифы перестройки // Правда.— 1993.— 28 января). Однако гораздо проще объяснить данный феномен опытом поколения: хотя официальная пропаганда постоянно рассказывала советскому человеку о “гримасах” рыночной экономики, в особенности в небогатых странах, до того, как были “либерализованы” цены, в глубине своего сознания (или подсознания) он так и не поверил, что товары, лежащие на прилавках, могут быть недоступны подавляющему большинству.

Начиная с 1992 г. ликвидация дефицита представлялась как главное (по сути, единственное) свидетельство успеха “реформ”, а напоминание об очередях было одним из самых мощных аргументов в избирательных кампаниях сторонников существующей власти, в том числе на президентских выборах 1996 г. При этом, естественно, старались не вспоминать (или честно забыли), что ликвидация дефицита товаров была достигнута ценою резкого снижения платежеспособного

спроса (т. е. превращения для большинства населения денег в новый дефицит) и что ликвидация дефицита товаров в начале 90-х гг. была легко достижима в тактическом плане — путем повышения цен в полтора-два раза (но не в десять тысяч раз), а в стратегическом плане — посредством малой приватизации и использования механизмов регулируемого рынка. Таким образом, “истинность” упрощенной теории в истории новейшей российской революции была “подтверждена”... еще более примитивной практикой!

Пора, однако, обратиться непосредственно к конфликтологическим характеристикам революции и их проявлениям в российском социально-политическом процессе 90-х гг.

1. Революция прежде всего представляет собой конфликт открытый, прямое столкновение борющихся сторон — общественных классов, этносов, политических элит, партий или их блоков, лидеров и т. п. Как ни странно, это очевидное утверждение нуждается в дополнительных пояснениях не с точки зрения теории политической революции (то, что последняя нигде и никогда без борьбы не происходила, кажется, никто не отрицает), но с точки зрения теории конфликта.

Дело в том, что лишь некоторые авторы, преимущественно занимающиеся психологическими исследованиями, признают возможность существования латентного (в том числе неосознанного) конфликта или латентной стадии конфликта (см., например: Краткая философская энциклопедия. — М.: Изд. группа “Прог-ресс”, 1994.— С. 221—222). Другие, напротив, полагают, что конфликт “... тем отличается от противоречия, что всегда субъектно осмыслен и представлен известной позицией...” (Семенов В. С. Россия в сети конфликтности: между взрывом и согласием // Социс.— 1993.— № 7.— С. 74). Третьи пытаются сочетать обе эти позиции, подчас вступая в противоречие с формальной логикой. “Конфликт социально-политический,— пишет, например, Э. В. Тадевосян,— высшая ступень в развитии социальных и политических противоречий в обществе, характеризующаяся сравнительно острыми столкновениями сторон..., тенденцией усиления их сознательного противоборства в ходе реализации противоположных интересов” (Тадевосян Э. В. Словарь-справочник по социологии и политологии.— М.: Знание, 1996.— С. 110). Одновременно автор подразделяет конфликты по форме их проявления на открытые (явные) и скрытые (латентные) (там же). Поскольку же острого столкновения и сознательного противоборства в латентном виде быть не может, вопрос о том, оправданно ли с научной точки зрения называть конфликтом латентную стадию или форму проявления процесса развертывания противоречия, остается открытым.

Среди трех позиций, приведенных выше, предпочтительнее представляется первая, и не только из общих соображений, но и с точки зрения исследуемой темы. Если революция есть вид конфликта (а это никем не оспаривается), то следует признать, что в предреволюционный период этот конфликт существовал в латентной форме, тогда как в период революционный приобрел открытый характер. Среди прочего это означает, в частности, что о начале и этапах развития революции следует судить не по состоянию общественного мнения, как это иногда делается в литературе, но по практическим действиям людей и их результатам.

2. Революция, далее, есть конфликт по преимуществу внутренний, обусловленный внутренними противоречиями системы и призванный в той или иной форме их разрешить. Мировая история знает, конечно, немало примеров (в том числе относительно удачных) экспорта революции и контрреволюции, а также еще больше примеров того, как революцию объясняли заговором внешних сил. Поскольку на протяжении 90-х гг. автору неоднократно приходилось высказываться на эту тему и поскольку менять позицию нет никаких оснований, воспроизведу здесь собственные размышления семилетней давности, которые, увы, становятся все более актуальными по мере того, как среди людей, своими руками (или голосами на выборах) помогавших разрушать основы собственного благополучия, на фоне углубляющегося кризиса крепнет вера в то, что они стали жертвой заговора внешних сил.

“Заговоры, конечно, всегда были и, надо полагать, будут. Но никакой заговор не в состоянии разрушить государство, если для этого нет внутренних предпосылок. Сомневающиеся могут попытаться путем заговора разделить на составляющие, например, Испанию или Швейцарию, а ведь это тоже многонациональные государства.

...Версия заговора: выступает в двух вариантах. Начнем с первого, наиболее одиозного — заговора сионистов (в зависимости от уровня культуры различные авторы говорят также о “жидомасонах”, “малом народе” и т. д.). Разумеется, ни один серьезный политолог не может и не будет отрицать существование международного еврейского капитала (наряду с армянским, китайским и т. п.), равно как и активную деятельность израильского лобби в Соединенных Штатах (наряду с другими лобби). Однако отсюда вовсе не следует, что этот капитал и это лобби стремились к разрушению Советского Союза (почему не Китая или Индии?) и что эта задача была им по силам. И уж тем более все это не может служить оправданием антисемитизма. Если, например, в Соединенных

Штатах в последнее время резко активизировалась “русская” мафия и даже теснит знаменитую Коза Ностру (ура, мы хоть где-то “ломим”), то это вовсе не означает, что именно российская эмиграция угрожает американской стабильности, а ко всем русским надо относиться, как к мафиозным элементам.

С небольшими коррективами то же самое можно сказать и о другом варианте версии заговора, который в роли могильщиков Союза представляет крупные иностранные державы, прежде всего США. Безусловно, в Соединенных Штатах существует киссинджеровское направление в политике, сторонники которого считают, что Россия всегда останется соперником Америки, независимо от того, какую общественную систему она (Россия) выберет. Безусловно, правящая американская элита не заинтересована в сохранении сильного политического и экономического конкурента и хотела ослабления Советского Союза. Но вряд ли она хотела его разрушения. Бывшая великая держава, разваливающаяся и кровоточащая, стала едва ли не самым нестабильным регионом в мире и угрожает похоронить под своими обломками не только собственные народы, но также сытый и привыкший к сравнительному спокойствию Запад. Вот почему американцы, сколько было возможно, поддерживали не Ельцина, а Горбачева, призывая российского и других республиканских лидеров к взвешенности и предупреждая общественность об опасности разрушения государства” (Смолин О. Н. Куда несет нас рок событий? // Иртыш. Альманах Омской писательской организации Союза писателей РФ.— Омск.— 1992.— № 2.— С. 14—15).

В дополнение к написанному в 1992 г. стоит сделать два замечания.

Во-первых, тот факт, что руководство Соединенных Штатов Америки и Организации Североатлантического договора, желая ослабления Советского Союза, в свое время боялось его неуправляемого распада, отнюдь не означает, что после разрушения СССР оно поддерживает интеграционные процессы на его бывшей территории. Как раз наоборот: опубликованные в печати высказывания лидеров блока и, в частности, государственного секретаря США свидетельствуют об активном неприятии союза России и Белоруссии, а равно и о поддержке позиции Украины, от этого союза дистанцирующейся. Однако и в этом случае внешний фактор, хотя и влиятельный, не является определяющим в отношениях трех славянских государств.

Во-вторых, когда под занавес новейшей революции между высокопоставленными российскими чиновниками, включая премьера Черномырдина, и американскими политологами неожиданно развернулась публичная дискуссия по поводу международного статуса России и ее внешней политики, правы были вторые, утверждавшие, что Советский Союз проиграл “холодную войну”, а не первые, возмущенно это отрицавшие. Действительно, как уже говорилось, “административно-бюрократический социализм” в условиях нового витка технологической революции не выдержал соревнования с “социальным капитализмом”, главным образом, по способности ассимилировать научные открытия и технические разработки. Но отсюда вовсе не следует, что российская революция — прежде всего результат внешних влияний. Ключ к действительному пониманию проблемы дает ее интерпретация как революции бюрократической, о чем речь пойдет ниже. Однако по иронии истории против требования признать поражение Советского Союза и России в “холодной войне” и вести себя соответственно наиболее шумно выступали как раз те, чьими руками свершилась революционная катастрофа и кто фактически и без того проводил международную политику с позиции слабости! Иначе говоря, новая российская политическая элита не могла смириться лишь с тем, что ее деяния на весь мир были названы своим именем.

3. С конфликтологической точки зрения революция помимо этого выступает как конфликт всеобщий и многомерный. Такой конфликт:

проявляется во всех основных сферах жизни общества (экономической, социальной, национальных отношениях, политической, духовно-культурной);

означает, что в противоборство вовлечены все основные социальные группы и политические организации;

реализуется как по горизонтали (внутри социально-политических структур), так и по вертикали (между подчиненными и руководящими структурами на всех уровнях организации управления).

Если даже ограничиться исключительно сферой политики, универсальность конфликтов проявляется в том, что они реализуются буквально по всем направлениям, а именно как конфликты:

базовые — внутри масс;

между политической элитой и массами;

внутри политической элиты;

между лидерами и общественными группами;

межгосударственные;

межличностные;
внутриличностные.

Проявление каждого из этих конфликтов в условиях новейшей российской революции могло бы стать предметом большого самостоятельного исследования. Некоторые из них уже подверглись изучению социологами и политологами, другие, вероятно, станут предметом политической истории. В последующих разделах настоящей работы нам предстоит вернуться к анализу отдельных сфер проявления и видов конфликтов (преимущественно политических). Поэтому в данном случае обозначим лишь некоторые аспекты проблемы.

Первый аспект — основные факторы и общая динамика развертывания конфликтов в России второй половины 80—90-х гг. Динамика эта, если сосредоточить внимание на политических конфликтах, в общем виде выглядела следующим образом: от латентной стадии развития конфликтов в середине 80-х гг. через их нарастание к пику в 1991 г., при переходе от реформистской стадии процесса к революционной. Затем некоторый спад конфликтности в 1992 г., пик в 1993 г. и новое синусоидальное развитие процесса с нарастанием в моменты более быстрого проведения “реформ”. При этом детерминация уровня социальной напряженности была многофакторной, и если вообще возможно выделить среди многочисленных факторов определяющий, то его неизбежно придется формулировать опять-таки в виде самой общей формулы — глубина и стадии развертывания системного кризиса. Соответственно этому на протяжении всего периода факторы, вызывавшие обострение конфликтов, явно доминировали над факторами их погашения. Среди первых заслуживают особого внимания:

спад производства и, соответственно, потребления товаров, острые проявления дефицита в натуральной либо денежной форме;

рост напряженности в межнациональных отношениях вплоть до разрушения прежней государственности, этнократическая политика в бывших республиках Советского Союза, проявляющаяся, в частности, в виде “великодержавного сепаратизма” (т. е. стремления отделиться от более крупного государственного образования, одновременно пресекая подобные тенденции со стороны этнических меньшинств на собственной территории);

борьба за власть и собственность между первым, вторым и последующими эшелонами управленческого аппарата, общесоюзной и республиканскими, а затем общероссийской и региональными элитами;

скачкообразный рост социального неравенства, дифференциация по доходам, значительно превысившая не только уровень Западной Европы и Японии, но и Соединенных Штатов Америки;

количественный и качественный рост социальных различий между общественными группами, выделяемыми по большинству других оснований социальной стратификации, включая различия социально-классовые, социально-профессиональные (особенно выделение профессиональных отрядов работников, связанных с банковско-финансовой и аналогичными видами деятельности), социально-поселенческие (в особенности относительное обнищание селян по сравнению с горожанами и “северян” по сравнению с другими гражданами страны) и т. п.;

глубокий субкультурный, в том числе ценностный, разрыв между разновозрастными когортами, “конфликт поколений”, усиленный, среди прочего, ускорением исторического времени, более быстрой адаптацией молодежи к новым условиям и более глубокой аномией в молодежной среде;

борьба между “олигархами”, т. е. крупнейшими финансовыми и финансово-промышленными группами, во второй половине 90-х гг. за перераспределение собственности и влияния на власть;

рост зарегистрированной и скрытой безработицы;

усиление отчуждения народа от власти после провала попыток создания некоего аналога “демократии участия” в конце 80-х гг.;

идеологический раскол общества, в том числе по линиям “правые—левые” и еще более — “западники”—“патриоты” и т. п.

Имея в качестве материала для теоретического анализа столь очевидный набор факторов усиления конфликтности, нетрудно было уже в конце 80-х гг. предсказать ее качественный рост. Тем удивительнее, что ряд теоретиков упорно пытались доказать, будто база конфликтов сужается. Именно такую позицию обосновывал В. Г. Костаков, ссылаясь на рост производства в личном подсобном хозяйстве в 1992 г. до 25 %, на отсутствие молодежи на традиционных политических митингах и на то, что, согласно оптимистической оценке Правительства, по основным показателям потребления на душу населения страна оказалась на уровне начала 70-х гг., когда, как известно, конфликтной ситуации не было (Костаков В. Г. Выступление на “круглом столе” “Социальные конфликты в условиях переходного периода” // Социс.— 1993.— № 4.— С. 17). Разумеется, подобная аргументация никакой

теоретической критики не выдерживает. Рост личного подсобного хозяйства совсем не обязательно свидетельствует о развитии рыночных отношений, скорее наоборот, о возврате к натуральности, когда каждая семья из-за отсутствия денег стремится обеспечить себя всем необходимым, производя по возможности продукты своими силами. Отсутствие студентов на политических митингах в начале 90-х гг. свидетельствовало не о сужении базы конфликтов, а как раз напротив, о конфликте поколений, противоположности их ценностных ориентаций, не говоря уже о том, что в 1997—1998 гг. Правительство столкнулось и со студенческими акциями протеста. Наконец, как хорошо знали еще советские марксисты, конфликтность в обществе вызывается не низким уровнем жизни самим по себе, но его снижением в кризисные периоды, а равно и “вымыванием” “среднего класса”. В средние века уровень жизни был ниже, чем в новое время, но ниже была и конфликтность. Ссылаться в условиях кризиса 90-х гг. на то, что уровень жизни 60—70-х гг. не вызывал конфликтов, — значит абсолютно не представлять себе механизмов, определяющих динамику общественных настроений. Впрочем, данный пример, как и другие, ему подобные, важен не с теоретической, а с социально-психологической точки зрения, не как пример научного прогноза, но скорее как образец мифологизации революционного сознания, о чем речь пойдет ниже. То, что с аргументацией политического мифа выступают представители научного сообщества, равным счетом ничего не меняет.

Другой аспект проблемы — выявление наиболее острых конфликтов, требующих первоочередных мер для их разрешения. По этому поводу в литературе высказаны самые различные точки зрения, начиная от стандартных пропагандистских версий, согласно которым наиболее острыми являются конфликты между “реформаторами” и “консерваторами”, “демократами” и “коммунистами”, и заканчивая аргументированным представлением о том, что на первый план в системе конфликтов все более выходит дифференциация по уровню доходов (В. О. Рукавишников. Выступление на “круглом столе” “Социальные конфликты в условиях переходного периода” // Социс.— 1993.— № 4.— С. 16).

Позиция В. О. Рукавишникова действительно представляется обоснованной с логико-исторической и социологической точки зрения. С логико-исторической — ибо при избранной модели развития новейшая российская революция могла непосредственно увенчаться лишь “диким” рынком с крайними формами социального неравенства, бедностью или нищетой широких слоев населения на фоне роскоши (в этом, собственно, и заключалась скрытая суть популярного в начале перестройки лозунга избавления от уравниловки). С социологической — ибо результаты социологических исследований, на которые как раз и ссылался В. О. Рукавишников, убедительно свидетельствовали и продолжают свидетельствовать о высокой ценности социального равенства в массовых представлениях россиян. Впрочем, предоставим слово самим исследователям проблемы. “По-прежнему для большей части россиян равенство является более социально значимой ценностью, нежели свобода. Точнее говоря, для всех без исключения россиян важны и свобода, и равенство. Но если предстоит выбрать между ними, равенство для почти 2/3 (59%) опрошенных представляется более важным, ибо они считают, что “социальные различия между людьми не должны быть слишком большими и никто не должен пользоваться неза заслуженными привилегиями”. На противоположной точке зрения стоит одна треть. Эти люди полагают, что если выбирать, то личную свободу. Свобода в их глазах является более важной, чем равенство, ибо “каждый должен жить как он хочет без каких-либо искусственных ограничений”. Заметим, что, согласно данным опросов, относительное большинство жителей бывших социалистических стран также отдает предпочтение равенству. В традиционных западных демократиях большинство, напротив, выбирает свободу” (Рукавишников В. О., Рукавишникова Т. П., Золотых А. Д., Шестаков Ю. Ю. В чем едино “расколотое общество”? // Социс.— 1997.— № 6.— С. 92).

Однако глубина социальных противоречий, являющихся источником конфликтов, отнюдь не всегда тождественна их остроте. Существует, по крайней мере, еще один фактор, социально-психологический, который на короткий промежуток исторического времени (1991—1997), как представляется, оказался решающим и перевесил влияние более глубоких процессов. Дело в том, что само революционное отрицание пороков (в том числе мнимых) прежней системы заставляло большинство политически активного населения мириться с пороками (вполне реальными) нового социального порядка. Поэтому, будучи недовольными крайностями социального неравенства, они активно против него не выступали, ограничив практические действия лишь случаями прямого мошенничества (борьба обманутых вкладчиков против финансовых “пирамид”, шахтеров — против посредников, торгующих углем и т. п.). С другой стороны, социальная зависть — “свое другое” общинно-уравнительной психологии — по инерции продолжала проявляться у работающих — по отношению к коллегам, получающим чуть более высокую заработную плату; у пенсионеров, не имеющих льгот,—

к льготникам; у инвалидов труда — к инвалидам войны и т. п. Таким образом, дифференциация по доходу внутри бедных и нищих (групп с низкими доходами) препятствовала осознанию и развитию их общего конфликта с нуворишами. Излишне говорить о том, что такая позиция бесконечно облегчала раздел “общенародной собственности” между “старыми бюрократами” и “новыми русскими”.

Вполне возможно, что в постреволюционной исторической фазе конфликты по имущественному расслоению станут в России не только наиболее глубокими, но и наиболее острыми, что будет означать совпадение логического и конкретно-исторического. Однако в фазе предреволюционной и революционной динамика остроты конфликтов по их видам и сферам проявления конфликтности представляется следующей (при этом наиболее острыми признаются те конфликты, которые сопровождаются прямым насилием и человеческими жертвами).

Со второй половины 80-х гг. и до распада Советского Союза наиболее остро проявлялись конфликты национальные, о чем свидетельствует табл. 1. После разрушения Советского Союза они превратились, преимущественно, в конфликты внутригосударственные и межгосударственные, а количество их несколько уменьшилось. Отсюда, однако, вовсе не следует правота тех социалистов, которые утверждают, будто “мирный роспуск” Советского Союза спас его народы от массового проявления насилия и так называемого “югославского варианта”. На самом деле по количеству жертв отдельно взятые гражданская война в Таджикистане или локальная гражданская война в Чечне в десятки раз превосходят все вместе взятые конфликты на национальной почве с применением насилия в 1986—1991 гг.

В 1990—1991 гг. в Советском Союзе и с весны 1992 г. по осень 1993 г. в России по остроте с ними соперничали конфликты политические, в основе которых лежала борьба различных уровней управленческого аппарата за доступ к власти и собственности. Эти конфликты достигают пика 3—4 октября 1993 г. в период малой гражданской войны в Москве, затем ослабевают, но никогда не прекращаются, вновь обостряясь в периоды президентских и парламентских выборов, попыток Парламента выразить недоверие Правительству или попыток Президента утвердить новое Правительство, не опирающееся на парламентское большинство. В конце 1994—1995 гг. и в июле — августе 1996 г. самым острым конфликтом в России становится вновь национальный, завершившийся признанием *de facto* независимости Чечни.

Рассматривая конфликты социально-трудовые, следует отметить, что, развиваясь по нарастающей с конца 80-х гг., они резко потеряли в остроте и массовости в 1993 г., а затем снова пошли на подъем, все чаще сопровождаясь политическими лозунгами (табл. 2).

Таблица 2

Социально-трудовые конфликты на территории Российской Федерации

В 1998 г. социально-трудовые конфликты достигают нового пика, о чем свидетельствуют итоги всероссийской акции протеста профсоюзов 9 апреля и 7 октября. Так, по данным ФНПР, в акции 7 октября, проходившей под лозунгом “Нет — губительным экономическим реформам”, приняли участие более 25 млн. человек, в том числе более 12 млн. приняли участие в забастовках и приостановках работы в почти 39 тыс. коллективов предприятий, учреждений и организаций. Митинги, шествия и пикетирования прошли в 74 республиканских, краевых и областных центрах. В 73 регионах в резолюциях митингов было принято требование об отставке Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина (Вестник профсоюзов.— 1998.— № 11—12.— С. 17).

Характерной особенностью социально-трудовых конфликтов второй половины 90-х гг. стало активное включение в различные акции протеста российской интеллигенции. В 1995—1998 гг. наиболее сплоченно и организованно в забастовочном движении принимали участие работники народного образования (табл. 3).

* Информационный бюллетень ЦК профсоюза работников образования и науки. М., 1998.— № 25.— С. 2—7.

При этом, как показывает анализ выдвигаемых требований, мотивом участия в пикетированиях, забастовках и других формах протеста является не только недовольство материальными условиями жизни, но и общая обеспокоенность состоянием образования в России. Это подтверждается и социологическими опросами участников конфликтов (см.: Кацова А. М. Социально-трудовые отношения и забастовочные действия российских трудящихся в переходный период // Социальный конфликт.— 1998.— № 1.— С. 45; Кинсбургский А. В. Социальное недовольство и потенциал роста // Социс.— 1998.— № 10.— С. 95—96).

Вкратце отметим еще и третий аспект проблемы, связанный, но не совпадающий с двумя другими. Речь идет о выделении наиболее существенного конфликта, т. е. вытекающего из сущности процесса и воздействующего на нее, говоря традиционным языком советской социальной науки, — основного противоречия. Представляется, что после победы антикоммунистической революции в августе 1991 г. выбор между социализмом (в любой форме) и “рыночной экономикой” (т. е. капитализмом) был сделан в пользу последней. После этого борьба шла уже не столько между социалистическими и буржуазными тенденциями, сколько между сторонниками различных моделей капитализма. “Главная линия противоборства внутри переходного российского общества,— отмечает М. О. Мнацаканян,— представлена тенденциями, выражающими основное интегральное, ведущее противоречие между двумя возможными типами рыночных отношений: традиционалистскими и современным, буржуазно-рациональным, продуктивным” (Мнацаканян М. О. О природе социальных конфликтов в современной России // Социс.— 1997.— № 6.— С. 84). Далее, ссылаясь на Макса Вебера, автор доказывает, что капитализм может существовать, по крайней мере, в двух формах: промышленно-рациональной и торгово-авантюристической, связанной с криминалом, коррупцией и т. п. Из этого делается следующий политологический вывод: “... по обе стороны конфликта стоят не в чистом виде силы, аккумулирующие реставрационную политику и реформаторство в лице коммунистов и демократов, а более сложные коалиции и группы. Причем конфликтная линия разделяет как демократический, так и коммунистический, национал-патриотический лагерь” (там же.— С. 85).

Ключевая идея этих рассуждений представляется безусловно справедливой, однако терминология явно нуждается в уточнении. Можно принять с некоторыми оговорками отождествление торгового, криминально-бюрократического капитализма с традиционалистскими отношениями в том смысле, что торговый капитал господствовал в период первоначального накопления и предшествовал капиталу промышленному. Однако очередной российский парадокс, недостаточно учитываемый М. О. Мнацаканяном, состоит в том, что в отечественных условиях 90-х гг. как раз “традиционалисты”, “консерваторы” объективно выступали сторонниками развития промышленного капитализма, тогда как победившая торгово-криминальная его модель создана сторонниками быстрее вхождения России в “западную цивилизацию”!

4. Революция — конфликт в одной из его наиболее острых форм. При любой типологии конфликтов или стадий их развертывания по степени остроты революции займут в ней одно из первых мест. Например, если принять концепцию, согласно которой каждый заверченный конфликт проходит латентную стадию, стадию напряженности, стадию антагонизма (несовместимости сторон) и стадию разрешения, то политической революции, безусловно, соответствуют третья и отчасти четвертая стадии. Политическая революция даже в мирной (“бархатной”) форме всегда представляет собой конфликт, сопровождающийся насилием и уступающий по остроте лишь военным конфликтам. Если же революции осуществляются с помощью вооруженного насилия и ведут к гражданским войнам, которые, как известно, по степени жестокости обычно превосходят войны между государствами, — такие революции представляют собой конфликты в их наиболее острой форме. Помимо этого каждая революция провоцирует насилие и гибель людей опосредованно — в качестве катастрофы и аномии.

В этой связи представляются весьма интересными, хотя отнюдь не бесспорными, попытки ряда авторов (преимущественно демографов и медиков) рассчитать прямые и опосредованные последствия революционных катастроф для развития “человеческого потенциала” общественной системы. Приведем лишь два примера.

В канун новейшей российской революции в газете “Аргументы и факты” была опубликована статья, автор которой попытался оценить прямые и косвенные демографические потери от революции предшествующей (Курганов. И. Три цифры // Аргументы и факты.— 1990.— № 13.— С. 7). Согласно этим расчетам, население России в границах до 1939 г., составлявшее в 1917 г. 143,5 миллиона человек при естественном приросте в 1,7% в год, принятом Госпланом, к 1959 г. должно было составить 319,5 миллионов человек, а в действительности составило 208,8 миллиона. Людские потери России от революционных и постреволюционных событий составили, следовательно, 110,7 миллиона человек, причем только 44 миллиона составляют прямые и косвенные потери, связанные с Великой Отечественной войной, а 66,7 миллиона, или 60% всех потерь — это потери, связанные с революцией и ее последствиями в невоенное время. Нетрудно понять, что смысл статьи заключался в осуждении революционного насилия, а ее пафос в духе времени был направлен против революционеров-большевиков.

Что касается революции новейшей, представляющей для нашей работы больший интерес, воспроизведем следующую точку зрения. “От экономического и социально-политического насилия в

1992—1995 годах, повлекшего рост смертности и обвал рождаемости, лишились права на жизнь 1150 человек на 100 тысяч населения в год. По подсчетам же самых активных антисталинистов, в 30-е годы страна недосчиталась 15 миллионов человек. (Расчеты более объективно исследовавших процессы тех лет ученых-демо-графов дают цифры в 2—3 раза меньшие.) Тем не менее из этих расчетов явствует, что в тот период СССР ежегодно терял приблизительно 898 человек на 100 тысяч населения. На основании этих подсчетов ученый Всероссийского НИЦ профилактической медицины РФ И. Гундаров сделал вывод: в нынешнем российском государстве интенсивность уничтожения человеческого потенциала на 30% выше, чем в самые кровавые годы сталинского режима (см.: Независимая газета.— 1995.— 29 декабря; Серебрянников В. Военное насилие в политических конфликтах // Свободная мысль.— 1996.— № 6.— С. 29).

Разумеется, чистота и достоверность расчетов авторов обеих точек зрения в отношении двух российских революций XX в. вызывают серьезные сомнения. Демографические процессы, как известно, весьма сложны и поликаузальны, а потому вычленив среди множества воздействующих на них факторов единственный “фактор революции” и математически достоверно вычислить его роль вряд ли возможно, не говоря уже о том, что приравнивание потерь от снижения рождаемости к потерям от голода и репрессий представляется методологически недопустимым. Ряд отечественных демографов либеральной ориентации полагают, что демографические процессы 90-х г. лишь на 1/3 детерминированы “реформами”, а на 2/3 — другими факторами. Думаю, не подлежит сомнению то, что политическое и вооруженное насилие в 1917—1921 гг. было распространено в десятки и сотни раз шире, чем в 1991—1997 гг. Однако невозможно отрицать того, что, во-первых, две крупнейшие демографически катастрофы в России XX в. связаны именно с революциями и, что, во-вторых, на демографической ситуации опосредованные формы насилия могут сказываться почти столь же сильно, как и прямые.

Да и последние, увы, стали неотъемлемым атрибутом новейшей российской революции, как, впрочем, едва ли не любой другой. Три попытки государственного переворота со стороны Президента в конце 1992—1993 гг. (10 декабря 1992 г., 20 марта 1993 г., 21 сентября — 4 октября 1993 г.), одна из которых закончилась штурмом Парламента и гибелью, по официальным данным, 143 человек; Чечня, на которую вошедшая во вкус крови власть пыталась перенести опыт насильственного решения проблем и где в результате войны погибли, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч граждан Российской Федерации; новая попытка государственного переворота 18 марта 1996 г. после принятия Государственной Думой постановлений, направленных против Беловежских соглашений; готовность использовать вооруженную силу в случае поражения на президентских выборах 1996 г. при недостаточности других средств — все эти и им подобные примеры проще всего было бы списать на характер Президента (в прошлом одного из самых жестких секретарей обкомов), когда бы так не поступали и другие революционные лидеры в своем подавляющем большинстве. Большевики в этом смысле отличались от других революционеров главным образом лишь тем, что повторяли вслух: “Революции не делаются в белых перчатках”, тогда как другие с большей или меньшей страстью делали то же самое в ином словесном обрамлении, приписывая “первородный грех революции” лишь своим историческим предшественникам и политическим противникам. С очень небольшой теоретической погрешностью можно сказать, что революция и насилие — близнецы-братья. Не меньше оснований вспомнить при этом и сформулированный Чеховым закон драматургии, согласно которому если в первом акте на сцене появляется ружье, то в третьем оно непременно должно выстрелить. А потому, если российские политические лидеры 90-х гг. действительно хотели создать новую политическую культуру, основанную на демократии, законе, уважении прав человека, у них для этого был лишь один шанс — не начинать революции, ограничиваться проведением реформ.

5. Следствием рассмотренных выше особенностей революции как всеобщего конфликта является еще одна ее важная конфликтологическая характеристика, а именно: неприменимость либо крайне низкая эффективность применения для разрешения революционных конфликтов “цивилизованных” (т. е. выработанных современной цивилизацией) средств и методов. Проиллюстрируем сказанное лишь одним примером.

Как известно, функционализм и теория конфликта, входящие в число наиболее важных для современной социологии и политологии научных парадигм, отражают две стороны существования социальных и политических систем: функционирование и развитие. При этом в обычных условиях функционирование, как правило, преобладает над развитием, что позволяет использовать функционализм; в кризисных условиях, напротив, развитие (изменения) преобладает над функционированием, что обуславливает необходимость использования теории конфликтов.

Как известно, соотношение функционирования и развития в истории человечества не остается

неизменным. Модернизация общества, связанное с нею ускорение темпа и ритма социальной жизни свидетельствуют о том, что это соотношение изменяется в пользу развития, что, в свою очередь, ведет к нарастанию конфликтности. Соответственно цивилизации приходится вырабатывать и совершенствовать средства разрешения конфликтов, обеспечивающие относительную стабильность социальных систем. Одной из таких разработок является теория легитимации конфликта.

Согласно этой теории, ставшей с легкой руки Ральфа Дарендорфа и его сторонников в настоящее время едва ли не общим местом в конфликтологии, стремление к игнорированию, а тем более к подавлению конфликтов приводит лишь к “взрывным” формам их разрешения. Напротив, наилучшим способом управления конфликтом является введение его в некие законные рамки, интегрирование в систему. В качестве форм легитимации конфликта рассматриваются обычно демократические механизмы, принятые в современных политических системах: парламентские выборы, борьба политических партий и их фракций в Парламенте, свобода слова, печати, уличных шествий и т. п. (см. об этом, например: Дарендорф Р. Современный социальный конфликт (Фрагменты книги) // Иностранная литература.— 1993.— № 4.— С. 237). При этом существуют даже некие стандартные формулы, отражающие суть концепции легитимации конфликта. Одна из них гласит: чем больше депутаты конфликтуют в Парламенте, а журналисты — на страницах газет, тем меньше их избиратели и читатели борются друг с другом на улицах и площадях.

Одна из особенностей революции как исторической ситуации, однако, как раз и состоит в том, что подобные механизмы легитимации, позволяющие, как правило, в обычных условиях управлять конфликтами, в условиях революционных либо не действуют, либо превращаются в собственную противоположность, в средство эскалации конфликтов. Можно привести немало примеров, когда выборные органы народного представительства, созывавшиеся, с одной стороны, по требованию политически активных граждан, а с другой — с явной целью “выпустить пар” и направить процесс в русло реформ, на самом деле превращались не просто в средство осуществления революции, но в ее вдохновителя и организатора. Именно такую роль играли английский Парламент в 1640 г., французские Генеральные Штаты в 1789 г., Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г. (с той разницей, что они не созывались “сверху”, но были созданы “снизу”), союзный и российский съезды народных депутатов в 1989 г. и 1990 г. соответственно.

Так, уже I Съезд народных депутатов России принял, по крайней мере, три решения, отвечавшие массовым настроениям, но одновременно резко повысившие уровень конфликтности политического процесса. Этими решениями были:

утверждение Декларации о суверенитете (независимости) России, которая стала мощным стимулом разрушения СССР;

принятие за основу “Декрета о власти”, резко ослабившее аппарат КПСС — стержень прежней политической системы, а следовательно, и ее управляемость;

избрание председателем Верховного Совета России Б. Н. Ельцина, использованного позднее новой формирующейся российской экономической и политической элитой в качестве “тарана” против элиты союзной.

Сказанное еще раз возвращает нас к сформулированному в самом начале работы тезису о революционной России как о “кладбище” методологий. В данном случае совершенно очевидно, что не только функционализм как одна из парадигм социогуманитарных наук совершенно не адекватен для революционных условий, но и теория конфликта — противоположная функционализму научная парадигма, которая по логике должна была бы именно здесь показать все свои эвристические возможности,— и эта теория не может в условиях революции быть применена без корректировки ситуационным подходом.

Образование. Революция. Закон...М., 1999

ГЛАВА VIII. РЕВОЛЮЦИЯ КАК АНОМИЯ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОЦИПАТИИ

1. Аномия и ее особенности в революционных условиях

Продолжая анализ признаков, не являющихся атрибутами исключительно революции, но в совокупности своей необходимых и достаточных для характеристики именно данного типа исторической ситуации, нельзя обойти вниманием феномен аномии. В отечественной литературе этот

термин повторно получил права гражданства в перестроечный период, хотя различные проявления аномии в разной связи безусловно исследовались и в советское время. Между тем специалисты отмечают, что истоки этого понятия можно найти еще в античной эпохе. “Древнегреческое *anomos* означает “беззаконный”, “безнормный”, “неуправляемый”. Оно встречается у Эврипида и Платона, в Ветхом и Новом Заветах, работах английского историка XVI в. Уильяма Лэмбейерда, французского философа и социолога XIX в. Жана Мари Гийо и в некоторых других источниках” (Феофанов К. А. Социальная аномия: обзор подходов в американской социологии // Социс.— 1992.— № 5.— С. 88). В число же социологических категорий понятие аномии ввел, как известно, Э. Дюркгейм (Гофман А. Б. Социология Эмиля Дюркгейма // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.— С. 330—331).

Однако, несмотря на широкое использование понятия аномии в новейшей отечественной литературе, несмотря даже на констатацию того очевидного факта, что “понятие “аномия” более всего подходит к различным переходным состояниям общества (периодам революций, периодам реформ, эпохам “перестроек” и т. д.)” (Философский энциклопедический словарь.— М.: ИНФРА-М, 1997.— С. 22),— несмотря на все это, революционные аномии (включая последнюю по времени) изучены отечественными специалистами сравнительно слабо, а в тех работах, где по существу изучается этот феномен, чаще всего не употребляется термин.

В самом общем виде под аномией понимают “любые виды “нарушений” в ценностно-нормативной системе общества” (Философский энциклопедический словарь.— М.: ИНФРА-М, 1997.— С. 22). При этом различные авторы в большей или меньшей степени связывают аномию то с ценностным вакуумом, то с девиациями, то с субъективно-психологическим отчуждением (феномены, впрочем, не совпадающие, но взаимосвязанные и нередко вызываемые общими причинами). Не задаваясь целью дать собственную интерпретацию понятия аномии, обратимся к тем ее аспектам, которые наиболее существенны для понимания революций и наиболее ярко проявляются в эти моменты истории. При этом выявление особенностей революционной аномии, разумеется, возможно лишь при их сопоставлении с общими характеристиками аномии как специфического социального феномена.

Не боясь тривиальности, стоит еще раз отметить, что аномия в ее широком понимании — атрибут любого общества, причем она может выступать как в дисфункциональной роли (нести в себе угрозу деградации или даже уничтожения системы), так и в роли необходимой функции — одного из необходимых условий, делающих возможными инновации. Последнее особенно характерно для традиционных обществ, где нормативно-ценностные системы отличаются крайней жесткостью и единообразием и где без нарушения от века установленного порядка развитие было бы вообще невозможно.

В условиях революции обе эти роли аномии из возможных превращаются в действительные и, более того, приобретают качественно иное содержание. Известный функционалист Роберт Мертон описывает следующий социокультурный механизм возникновения аномии, который он считает основополагающим. “...Культурные цели и институционализованные нормы, совместно создающие формы образцов господствующего поведения, вовсе не находятся друг с другом в неизменных отношениях. Культурное акцентирование определенных целей изменяется независимо от степени акцентирования институционализованных средств. Ценность определенных целей может подвергаться сильному, иногда исключительно сильному превознесению, что вызывает сравнительно малую заботу об институциональной предписанности средств их достижения. Крайним выражением такой ситуации является распространение альтернативных способов поведения в соответствии лишь с техническими, но не с институциональными нормами. В этом гипотетическом полярном случае разрешены любые способы поведения, обещающие достижение всезначущей цели (пример слабоинтегрированной культуры)” (Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социс.— 1992.— № 2.— С. 119).

Представляется, что механизм возникновения аномии описан Р. Мертоном верно, хотя, разумеется, он не универсален и не единственен. Но если это так, революция как историческая ситуация представляет собой в этом отношении пример гораздо более яркий, чем описываемая далее автором приведенной цитаты американская культура с ее “американской мечтой” и чрезмерным акцентированием цели успеха без предоставления всем гражданам необходимых средств его достижения. Выше уже говорилось, что провозглашаемые цели революции обычно высоки как никогда. Но и акцентированы они соответственно. Более того, для многих участников и средства достижения цели (нового социального идеала) превращаются в “цель-в-себе”, в самоцель. Служение делу революции воспринимается ими не только как гражданский долг, но и как смысл жизни. Не удивительно, что подобные цели в подобных условиях оправдывают если не любые средства, то уж

во всяком случае их столь широкий набор, который в обычной ситуации считался теми же людьми абсолютно недопустимым. С этой точки зрения революция, призванная сломать нормативно-ценностные основы прежней системы, аномична по самой своей природе. Это утверждение тем более верно, что в условиях революции социокультурный механизм, описанный Мертоном, отнюдь не исчерпывает причин возникновения аномии. Не меньшую роль играют другие революционные феномены, которые исследуются в настоящей главе.

Вместе со всей прежней системой и даже в первую очередь отрицанию (отвержению, критике, осмеянию) подвергается характерный для нее набор норм и ценностей. Они объявляются устаревшими, противоречащими здравому смыслу, неразумными, антигуманными и т. д. Более того, особенность революции как исторической ситуации состоит в том, что сама аномия (то есть безнормность) становится нормой, углубление дисфункций в прежней системе выступает как одна из функций революции, отказ от системы прежних норм и ценностей сам становится системой, а не исключением, как это обычно имеет место. Такой отказ рассматривается как обязательный для представителей революционных групп и их лидеров. Иначе говоря, мы имеем дело с предписанной аномией!

Забегаая вперед, можно сказать, что предписанная аномия (“обратная иерархия”, по терминологии М. М. Бахтина) роднит революцию с некоторыми видами празднеств, например, античных, где участникам вменялось в обязанность делать как раз то, что запрещалось в обычной жизни. Тем самым предписанная аномия, наряду с другими факторами, вызывает ситуативное расширение границ негативной свободы, о чем речь пойдет ниже.

Следует также иметь в виду, что в ситуациях социального кризиса всегда происходит регрессия к архаическим формам поведения. Поэтому характеристика революции в качестве аномии напрямую связана не только с ее характеристикой как отрицания, но и как катастрофы.

Разумеется, условно подразделяя функциональный и дисфункциональный аспекты революционной аномии и в этом смысле определяя ее особенность в качестве аномии предписанной, мы никак не исчерпываем всего содержания феномена. Если предписанная аномия напрямую следует из того, что любая революция есть отрицание, то, как уже не раз говорилось, любая революция есть вместе с тем катастрофа, а это значит, что наряду с предписанной усиливается и, так сказать, несанкционированная аномия. Практически любая революция сопровождается ростом числа таких правонарушений и таких преступлений, такими формами проявления “падения нравов”, которые не совпадают с интересами новой элиты и против которых она начинает бороться более или менее успешно. Преднамеренное или непреднамеренное провоцирование дезорганизации и анархии, а затем ее подавление — обычная логика поведения новой элиты в условиях революции.

Что касается функциональной роли аномии как одного из необходимых условий инноваций, то и она качественно отлична от своего аналога в условиях стабильного функционирования системы. Очень упрощенно, в виде грубой логической схемы суть дела можно представить следующим образом. В нормативно-ценностной системе любого общества содержится две группы элементов. Одна связана с уровнем развития цивилизации (производства, управления, образования и т. п.), другая — со специфическими особенностями данной системы (общественной формации) — отношениями собственности, типом социальной стратификации, доминирующей идеологией и др.

К слову сказать, автор отнюдь не считает продуктивным полный отказ от формационного подхода, пришедший на рубеже 90-х гг. на смену бездумному и упрощенному его использованию. Ведь еще почти 25 лет назад постиндустриалисты сформулировали идею, согласно которой типология общественных систем зависит от оси исследования, и если на оси технологии важнейшими типами общества являются доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное, то по оси собственности типология выглядит совсем иначе — феодализм, капитализм, социализм (см. об этом подробнее: Бестужев-Лада И. В. Критика социальных показателей в теориях “индустриального общества” // Идеологические проблемы научно-технической революции.— М.: Наука, 1974.— С. 270—271). Впрочем, сформулированную выше идею можно выразить и в других терминах, например, по А. Зиновьеву, выделяющему в общественной жизни деловой и коммунальный аспекты (Зиновьев А. А. Запад. Феномен западнизма.— М.: Центрполиграф, 1995.— С. 30—38).

При всем разнообразии вербальных формулировок общий смысл позиции, провозглашаемой революционерами разных эпох по интересующему нас в данном случае вопросу, сводится к следующему: революция должна сохранить общечивилизационные (общечеловеческие) компоненты нормативно-ценностной системы, решительно заменив при этом компоненты формационные (идеологические) и обеспечив тем самым подъем общества на новый уровень цивилизации. Следовательно, в отличие от обычной “инновационной аномии” количество новых элементов

нормативно-ценностной системы должно перейти здесь в ее собственное новое качество. Сказанное, разумеется, не относится к так называемым “консервативным революциям” (например, исламским).

В соответствии с ситуационными законами революции лозунги и в этом случае обычно расходятся с реальностью, причем расхождение возможно сразу по двум линиям. Революции, по крайней мере, на первых порах, отбрасывают обычно не только нормы и ценности, обязанные своим происхождением особенностям прежней системы, но также часть норм и ценностей общецивилизационного характера. С другой стороны, не каждая революция вводит в “общецивилизационный оборот” действительно новые системообразующие ценности, как это сделали американская и французская революции конца XVIII в. с ценностью индивидуальной свободы или Октябрьская революция в России с ценностью социального равенства. Поэтому и в нормативно-ценностном отношении непосредственные результаты революций бывают обычно крайне противоречивыми, вплоть до возможного понижения уровня цивилизованности, причем тем более, чем значительнее масштабы революционной катастрофы.

Другие аспекты и разновидности аномии, более или менее исследованные специалистами, также проявляются в революционных условиях весьма своеобразно. Так, Роберт Мертон, вклад которого в изучение аномии признается вторым после Эмиля Дюркгейма, выделял, как известно, пять видов поведения, способных вызывать аномию: конформность, инновация, ритуализм, ретритизм и мятеж (Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социс.— 1992.— № 3.— С. 105). Р. Мертон характеризовал свою концепцию как теорию “среднего радиуса действия”. Если, несколько увеличив этот “радиус”, принять ее в качестве рабочей гипотезы и при изучении нашего предмета, становится совершенно очевидно, что среди всех перечисленных форм приспособительного поведения для революционной аномии наиболее важны инновация и мятеж. Поскольку же речь об инновации шла выше, целесообразно начать с мятежа.

“Мятеж, как реакция приспособления,— пишет Р. Мертон,— возникает, когда существующая система представляется препятствием на пути достижения целей, признанных законными. Для участия в организованной политической деятельности необходимо не только отказаться от приверженности господствующей социальной структуре, но и перевести ее в новые социальные слои, обладающие новым мифом” (Мертон Р. К. Указ. соч. // Социс.— 1992.— № 4.— С. 94). Не касаясь пока проблемы политического мифа, которая будет рассматриваться позднее, отметим следующее очевидное соотношение понятий. Термином “мятеж” Р. Мертон обозначает тот особый вид “инновации”, который как раз и возникает в условиях революции (или революционного движения) и качественное отличие которого от прочих “инноваций” состоит в том, что он заменяет (или стремится заменить) общественную систему как таковую.

Другие виды порождающего аномию приспособления, перечисленные Р. Мертоном, при ситуационном анализе революции также легко могут быть обнаружены. Однако проявляются они крайне неожиданно, подчас в формах, противоположных тем, которые описал автор данной классификации. Так, наиболее характерной формой проявления конформности становится “конформизм инновации” — поклонение “новому” единственно по причине его отличия или противоположности “старому”. Это вполне соответствует логике революции как отрицания, причем давление общественного мнения на индивидуума в подобной ситуации не только не ослабевает, как можно было бы ожидать в связи с ослаблением контрольной функции социальных институтов, но напротив, многократно возрастает, а временами приобретает характер морального террора. Стоит напомнить в этой связи, что В. И. Ленину в послеоктябрьский период не раз приходилось сдерживать культурный радикализм своих соратников, и в особенности революционной молодежи. “Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития только на том основании, что оно “старое”?— риторически спрашивал лидер Октябрьской революции К. Цеткин и продолжал: “Почему надо преклоняться перед новым как перед богом, которому надо поклониться только потому, что “это ново”? Бессмыслица, сплошная бессмыслица” (Цеткин К. о Ленине. Воспоминания и встречи.— М.: Московский рабочий, 1925.— С. 39). Очевидно, что в данном случае здравый смысл революционера вступал в противоречие с законами революции, включая революционное отрицание и революционную аномию.

Что касается ритуализма, который, по Р. Мертону, выступает как “реакция на ситуацию, представляющуюся угрожающей и сомнительной”, и философия которого выражается высказываниями типа “я стараюсь не высовываться”, “я играю осторожно”, “всем доволен”, “не ставьте высоких целей — не будет и разочарований” (Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социс.— 1992.— № 3.— С. 111), то его специфика в революционных условиях состоит в том, что он выступает прежде всего как реакция на “инновацию”, а также как стремление уклониться от всеобщего конфликта. Забегая вперед,

заметим, что в 90-х гг. в отечественной литературе много писали о стремительном вытеснении из российского массового сознания гражданских ценностей ценностями частной жизни, выдавая это подчас чуть ли не за суть революционных изменений в этой области. На самом же деле мы имеем здесь по преимуществу феномен “революционного ритуализма”, хотя целиком к нему проблема, конечно, не сводится.

Наконец, в отношении ретритизма, для которого характерно отвержение культурных целей и институциональных средств и который, по Мертону, встречается реже всего (Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социс.— 1992.— № 4.— С. 111), можно, думается, утверждать, что и эта форма аномии в условиях революции распространяется шире, чем когда-либо. Число ее носителей, являющихся в обществе “чужаками”, неизбежно возрастает, когда дореволюционная система стремительно сменяется постреволюционной. При этом помимо форм, названных Р. Мертоном (лица, страдающие некоторыми видами психозов, для которых характерен уход от реального мира в свой внутренний болезненный мир, отверженные, изгои, бродяги, хронические алкоголики, наркоманы и т. п.) (там же.— С. 91), специфической формой ретритизма в революционных и постреволюционных условиях может выступать “пассивный консерватизм” людей, не принимающих новую систему, но и не борющихся активно против нее. Хорошим примером тому может служить доктор Живаго из одноименного романа Б. Пастернака.

Таким образом, сказанное позволяет сделать вывод о том, что в революционных условиях социальная аномия расширяется едва ли не по всем возможным линиям и приобретает принципиально новое качество. Однако этим особенности революционной аномии не исчерпываются, ибо она в значительной степени требует к себе принципиально иного подхода. Если с социологической точки зрения аномия в обычных условиях — нормальная реакция нормальных людей на ненормальные обстоятельства (Мертон Р. К. Указ. соч. // Социс.— 1992.— № 2.— С. 120—121), то для аномии революционной такого определения, по-видимому, уже недостаточно. Речь здесь идет уже не только о ненормальных обстоятельствах, но, в известном смысле, и о “ненормальных” людях с “ненормальной” реакцией. Иначе говоря, еще одно важное отличие революционной аномии (впрочем, не только ее) заключается в том, что она имеет тенденцию превращаться в социальную психопатологию.

Феномен революционных социопатий в 90-х гг. постепенно становится предметом исследования со стороны отечественных ученых, правда, как и следовало ожидать, преимущественно в отношении революций прошлого. При этом анализ литературы позволяет выделить две различные, хотя не обязательно альтернативные, интерпретации этого феномена. Предоставим сначала слово сторонникам первого подхода, по-новому анализирующим исторический материал 1917 г.

“Всякая революция — как и любая экстремальная ситуация — обнажает крайние стороны человеческой природы. Наряду с выявлением лучших людских качеств революция демонстрирует всю гамму психопатологии массового сознания. Эта последняя менее всего изучена, хотя ее присутствие отмечали все наблюдатели. Свое веское мнение на этот счет оставили В. Вернадский и П. Сорокин. Последний даже заявил, что в революционную эпоху в человеке просыпается не только зверь, но и дурак...”

Принято считать, что в любом обществе в любую эпоху количество ненормальных составляет приблизительно один процент. Сомнительно, что даже в условиях тотального переворота всей системы ценностей и всеобщей “депрограммированности” такие люди не могли бы естественно повести за собой массы. Очевидно, дело не в революционных “психах”, а в достаточно неопределенной прослойке “полунормальных” или психопатических лиц, приобретающих возможность “заражать” растущий слой социально-неприкаянных. К числу последних можно отнести часть солдат, беженцев, депортированных, безработных, люмпенов, пауперов, военнопленных и т. п., общая численность которых могла достигать двадцати миллионов человек. Разумеется, среди них было предостаточно и “революционных идеалистов”, и “загнанных в угол” обстоятельствами людей, и “оборотней революции” (тех, кто цинично использовал социальный хаос в корыстных интересах)” (Волобуев П. В., Булдаков В. П. Октябрьская революция: новые подходы к изучению // Вопросы истории.— 1996.— № 5—6.— С. 35).

Очевидно, что в данном случае речь идет о психопатологии в буквальном, прямом смысле, о психопатологии, носители которой получают возможность влияния на ход исторических событий благодаря чрезвычайным социальным обстоятельствам. Последние в этом случае выступают не столько как фактор, рождающий социопатии, сколько как фактор, “резонирующий” их общественное влияние. Несколько иначе расставляют акценты Е. Головаха и Н. Панина, что особенно ярко проявляется при различении ими социопатий и девиаций.

“Различие состоит, во-первых, в том, что девиантное поведение непосредственно связано с актом сознательного выбора (нарушать или не нарушать социальную норму, ограничивающую индивидуальный произвол), тогда как в патосоциальный процесс индивид вовлекается непроизвольно, во-вторых, в отличие от “вечных проблем”, связанных с классическими девиациями, специфические социопатии преходящи, и общество избавляется от подобных патологий по мере формирования новых адаптивных механизмов социального поведения и взаимодействия” (Головаха Е., Панина Н. Патология посттоталитарного общества: от психического самодиагноза к анализу специфических социопатий // *Философская и социологическая мысль*.— Киев, 1993.— № 5.— С. 29).

Оставив в стороне крайне неудачную сентенцию насчет связи классических девиаций с “вечными проблемами” (на самом деле роль психологически всеобщего в возникновении девиаций гораздо меньше, чем социально особенного), отметим более важную характеристику подхода авторов к революционным социопатиям, а именно: они рассматриваются не как результат усиления влияния “ненормальных” на “нормальных” граждан, но прежде всего как временная “ненормальность” нормальных людей в особых обстоятельствах, возникающая и исчезающая вместе с этими обстоятельствами. Другими словами, о психопатологии в данном случае можно говорить не в буквальном, медицинском, но скорее в образном, социальном смысле слова, и выступает она следствием не медицинских расстройств, но социальной интеракции, включая социальное заражение, подражание, конформизм и т. п., резко усиливающиеся в экстремальных условиях. Цитируем в этой связи одного из членов конвента времен Великой французской революции Билльо Варэнна, писавшего позже в мемуарах: “Всего чаще мы и сами не желали, двумя днями или одним днем раньше, принимать тех решений, которые теперь нам ставят в упрек, но эти решения порождал кризис” (цит. по: Лебон Г. *Психология народов и масс*.— СПб.: Макет, 1995.— С. 300). В реальной истории революций, разумеется, имеют место обе разновидности социопатий. Однако для наших целей более важным представляется изучение второй, ситуационной.

Таковы некоторые аспекты исследования и особенности аномии в революционных условиях. Обратимся теперь к российскому социально-политическому процессу 90-х гг., чтобы в очередной раз верифицировать его соответствие очередному критерию революции как исторической ситуации.

2. Аномия и социопатии в России 90-х годов “Криминальная революция”

Одно из первых обстоятельств, которое бросается в глаза при изучении современного российского социально-политического процесса,— это стремительный качественный рост “деструктивной аномии” и связанных с нею форм девиантного поведения. Официальная статистика отражает лишь немногие аспекты этой проблемы, связанные с увеличением числа зарегистрированных преступлений, наркоманов и т. п. Поскольку речь об этом уже шла в разделе “Революция как катастрофа”, приведем лишь некоторые дополнительные данные (табл. 1).

* Материал обновлён к данному изданию.

Однако статистика сама по себе не может дать полного представления о процессах криминализации российского общества. В конце концов рост числа зарегистрированных преступлений наблюдался и в предреволюционный период, а по их количеству на 100 тыс. населения Россия не достигла уровня США и некоторых других индустриально развитых стран. Специфику отечественной криминальности 90-х гг. можно понять в связи со специфическими причинами, ее порождающими, — причинами конкретно-историческими, а не “вечными проблемами”, якобы лежащими в основе девиаций как таковых. Отметим лишь некоторые из таких причин, не иллюстрируя приводимые положения статистическим материалом.

Причина первая — стремительное падение уровня жизни и распространение бедности. Специалисты, утверждающие, что бедность сама по себе преступности не порождает и иллюстрирующие это сравнительными данными положения дел в бедных и богатых странах, абсолютно правы. Но точно так же справедливо и то, что падение уже достигнутого и ставшего привычным уровня потребления воспринимается совершенно иначе, чем просто бедность, и вызывает желание этот уровень вернуть, подчас не считаясь со средствами. Тем более в культурно-идеологической ситуации, о которой речь пойдет ниже.

Впрочем, фактором криминала может быть и бедность сама по себе. В сельских районах Омской области, где автор этой книги регулярно бывал в связи с исполнением депутатских полномочий, не

раз приходилось слышать истории о том, как продуктовые магазины и киоски обворовывали голодные подростки. Иногда их заставляли прямо на месте преступления во время поедания украденного.

Причина вторая — еще более стремительный рост социального неравенства, по показателям которого Россия быстро превзошла не только Западную Европу и Японию, но и Соединенные Штаты Америки. В принципе и социальное неравенство, будучи более мощным фактором девиаций, чем бедность как таковая, не рождает их автоматически, даже когда оно выступает в форме нищеты на фоне роскоши. Россия не стала страной с рекордным уровнем неравенства (в некоторых странах Азии и Африки есть и более высокие показатели), но она могла бы поспорить с другими посткоммунистическими странами за рекорд по темпам роста неравенства. Гигантские состояния возникали в считанные годы, если не месяцы, а вчерашние соседи, которые совсем недавно, по Высоцкому, “все жили дружно вровень так”, мгновенно оказались принадлежащими к полярным социальным стратам. Если учесть к тому же, что в альтернативе между свободой и равенством средний российский гражданин предпочитает последнее, по любой нормальной логике следовало бы ожидать, что подобный рост социального неравенства вызовет массовые посягательства бедных на незаконно и несправедливо нажитые состояния богатых. Однако этого не произошло. По-видимому, революционное желание отринуть прошлое породило своеобразный феномен борьбы за равенство внутри бедных и нищих, когда, скажем, чуть более высокая пенсия у соседа вызывает зависть, а гигантские состояния “новых русских” воспринимаются спокойно, а то и с подобострастием. Поскольку, впрочем, приведенное объяснение этого уникального феномена явно недостаточно, можно отнести его и к числу революционных социопатий. Как бы то ни было, скачкообразный рост социального неравенства хотя и должен быть безусловно отнесен к числу факторов, рождающих девиации (преимущественно в виде внутренней борьбы между криминально-финансовыми группировками), но оказался гораздо менее действенным, чем этого следовало ожидать, исходя из общелогических соображений.

В качестве третьего, особого, фактора российской “криминальной революции” следует выделить избранную модель приватизации. Поскольку тема эта заслуживает специального разговора, ограничимся лишь одним общим замечанием. Для того, чтобы максимально ускорить приватизацию, создать социальную опору новой власти, а заодно и обеспечить собственные материальные интересы на несколько поколений вперед, организаторы приватизации проводили ее в пользу лиц, либо обладающих значительными финансовыми средствами, либо занимающих высокие должности в общественной иерархии. С этой целью управленческому аппарату официально создавались привилегированные условия в получении доли бывшей общенародной собственности. Помимо этого и в гораздо больших размерах условия такого присвоения создавались неофициально. Большинство наиболее высокодоходных предприятий было разделено таким образом, чтобы самые “лакомые куски пирога” достались “своим людям” (Глазьев С. Геноцид. Россия и новый мировой порядок.— М., 1997.— С. 26, 29). Так, семья экс-премьера В. С. Черномырдина стала соучастницей приватизации Газпрома, семья Б. Н. Ельцина — участницей приватизации компании “Аэрофлот. Российские международные линии”. Иначе говоря, всему многоступенчатому управленческому аппарату был подан пример того, как следует делить между собой чужую собственность. Пожалуй, в истории не было примера, которому следовали бы с большей охотой.

Отметим мимоходом, что в социально-психологическом плане раздел государственной собственности осуществить оказалось гораздо легче, чем частной. С одной стороны, не приходилось выдвигать лозунг “Грабь награбленное”, ибо разделяемая собственность была в подавляющей своей части не отобрана у бывших владельцев, а создана трудом миллионов всеми презираемых и проклинаемых “гомо советикус”. С другой стороны, уже накопившееся в условиях “развитого социализма” отчуждение работника от собственности, а равно и иллюзия ее “равного раздела на всех” до минимума снизили сопротивление работников предприятий, которые в других условиях, несомненно, претендовали бы на совладение ими.

Как бы то ни было, всеобщее присвоение (чтобы не сказать растаскивание) управленцами и нуворишами государственной собственности стало едва ли не основной формой “предписанной анонии” в условиях новейшей российской революции, предопределившей ее криминальный характер. В настоящее время это признано отнюдь не только представителями оппозиции, но и такими видными членами властвующей элиты, как Ю. М. Лужков, назвавший ваучерную приватизацию крупнейшей экономической аферой XX в. Политические лингвисты наверняка могли бы отметить (если уже не отметили), что само слово “приватизация” вне специальных текстов приобрело вполне определенный смысл. “Приватизировать” — означает в лучшем случае “взять чужое без спроса”, в худшем — просто “украсть”. Впрочем, тот факт, что криминальная лексика перестала быть лексическим криминалом и

воспринимается скорее как норма, отражает лишь глубокое проникновение криминальных и полукриминальных сюжетов в массовое сознание и подсознание. Еще совсем недавно, чтобы выразить уважение к человеку, ему предлагали сесть. Теперь подобное предложение воспринимается как оскорбительный намек на тюрьму, а потому человека просят... “присаживаться”!

Сказочно быстрое обогащение немногих стало фактором не только банального криминала, но также и аномии в более широком смысле слова, в том числе фактором решительного, хотя и временного, отказа новой элиты от патриотических ценностей. На связь названных выше двух переменных, казалось бы, столь далеких друг от друга, указал еще древнегреческий мыслитель Лисий, следующим образом оценивший уровень патриотизма “новых древних греков”, т. е. тогдашних скоробогачей: “Люди эти находят родину в любой стране или общине, там, где им открывается возможность большей наживы. Их родина — не община, а имущество” (цит. по: Томан Й., Томанова М. Сократ: Роман.— М.: Прогресс, 1981.— С. 301).

Быть может никто так ярко и художественно не опозитизировал антипатриотические ценности, как Владимир Кунин в нашумевшей в свое время повести “Иванов и Рабинович или “ай гоу ту хайфа”!.. Сказка для кино и отъезжающих” (Кунин В. Иванов и Рабинович или “ай гоу ту хайфа”!.. Сказка для кино и отъезжающих.— Ленинград-Мюнхен: СП “Ретур”, 1991). Сюжет повести, хотя и бесхитростен, но уникален для отечественной литературы. Василий Иванов и Арон Рабинович, отчаявшись добиться чего-нибудь в “своей проклятой стране”, мечтают эмигрировать в Израиль. Женившись на сестре друга, каждый берет фамилию жены, превращаясь, соответственно, в Арона Иванова и Василия Рабиновича. Поскольку за морем без денег делать нечего, друзья, продав все имущество, покупают старинную яхту, чтобы, используя связи и низкие советские цены на отделочные материалы, привести ее в порядок и затем выгодно продать какому-нибудь миллионеру. Ремонтируя яхту, доставляя ее к Черному морю, и затем по ходу плавания друзья проявляют чудеса изобретательности и силы духа (можно было бы сказать самоотверженности, если бы цель не была столь утилитарна). В конце концов ввиду земли обетованной яхта не выдерживает и разламывается на части, однако герои наши обрели желанную цель — вырвались с ненавистой Родины (еще раз обратим внимание читателей на то, что действие повести происходит в период горбачевской “перестройки”, когда в стране уже достаточно высок уровень экономической и политической свободы). В соответствии с законами жанра даже катастрофа яхты, которая должна была означать для героев крах надежд на богатую и спокойную жизнь, подается автором книги как катастрофа веселая.

Читатель вправе удивиться: почему подобный сюжет назван уникальным? Ответ прост: до сих пор герои произведений русской литературы, созданных в России или в эмиграции писателями самых разных политических ориентаций, тосковали по Родине, стремились на Родину и совершали незаурядные поступки во имя свободы Родины (как они эту свободу понимали); герои же Владимира Кунина столь же сильно тоскуют на Родине, стремятся прочь с Родины и мечтают освободить себя от Родины. Подобная переориентация — один из самых ярких примеров литературной — шире — художественной аномии, захлестнувшей страну на рубеже 80—90-х гг. Несколько уклоняясь от темы, заметим мимоходом, что аномия в данном случае не ограничивается переоценкой ценности Родины, но затрагивает и другую несущую конструкцию ценностной системы отечественной литературы. Герои Владимира Кунина чувствуют себя настоящими мужчинами и испытывают подлинное наслаждение в общении не с какими-нибудь “ископаемыми” тургеневскими девушками, но в “любви”... с проститутками в греческом порту! Разумеется, ничего подобного также не знала ни советская (“идеологизированная”), ни классическая русская литература от Пушкина до Чехова. Вернемся, однако, к приватизации.

Разумеется, приватизация — не единственный источник экономического криминала в России 90-х гг. Свою роль сыграли нецелевое использование бюджетных средств и кредитов, финансовые махинации на вывозе сырья, разворовывание гуманитарной помощи и т. п. Однако роль приватизации как главного фактора в подобного рода процессах отрицать невозможно.

Четвертый фактор — “массовой культуры” — на рубеже 80—90-х гг. был более значимым для “падения нравов”, чем для криминализации общества, однако и при анализе последней не принимать его в расчет невозможно. Здесь опять-таки следует учитывать количественные и качественные параметры. Первые характеризуют частоту сцен насилия и иных девиаций в единицу эфирного времени, а также темпы роста этой частоты от месяца к месяцу или от года к году. Вторые — содержание соответствующего материала и уровень восприимчивости к нему аудитории. Есть все основания утверждать, что криминализирующая роль “массовой культуры” в России на рубеже 80—90-х гг. была значительно выше, чем на Западе. Приведем лишь минимальную аргументацию:

количество сцен девиантного поведения в российском радио- и телеэфире было выше, ибо в

индустриально развитых странах установлен целый ряд ограничений по времени и каналам на их демонстрацию;

по мнению многих специалистов, включая зарубежных, по уровню жестокости сцен, демонстрируемых в открытом эфире, российские средства массовой информации и кинематограф превзошли в этот период зарубежные аналоги;

особое воздействие на аудиторию должна была оказать чрезвычайная быстрота перехода от установленных в советский период для средств массовой информации правил целомудрия, граничащего с ханжеством, к вседозволенности постсоветского эфира.

Пятая причина состоит в том, что на решающих этапах новейшей российской революции сама официальная идеология приобретала частично криминальный характер. В обоснование этого тезиса напомним несколько тривиальных теоретических положений.

Общеизвестно, что в любых модификациях современного общества действует, как минимум, два кода (системы) морали: официальный и оперативный. Первый охватывает систему официально провозглашаемых норм поведения, как правило, хотя не всегда, освященных авторитетом той или иной религии. Второй код вбирает в себя совокупность норм, которыми члены общества руководствуются в практической жизни. А поскольку речь идет преимущественно об обществах с рыночной экономикой, подобную мораль можно назвать “рыночной”.

Общеизвестно, далее, что подобная мораль далеко не всегда совпадает с требованиями закона и еще гораздо реже отвечает критериям “безгрешного” поведения. Прочитав в этой связи человека, которого трудно обвинить в предвзятости. “На верхних этажах экономики инновация довольно часто вызывает несоответствие “нравственных” деловых стремлений и их “безнравственной” практической реализации. Как отмечал Веблен, “в каждом конкретном случае не легко, а порой и совершенно невозможно отличить торговлю, достойную похвалы, от непростительного преступления”. Как хорошо показал Роббер Бэрнс, история крупных американских состояний переполнена весьма сомнительными инновациями. Вынужденное частное, а нередко и публичное восхищение “хитрыми, умными и успешными людьми” является продуктом культуры, в которой “священная” цель объявляет священными и средства” (Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социс.— 1992.— № 3.— С. 105).

Общеизвестно, наконец, что чрезмерный разрыв между двумя системами морали опасен для общества, а потому оно стремится по возможности уменьшить “дистанцию” между ними. Такой разрыв, между прочим, стал одним из факторов крушения советской системы. И не потому, что уровень морали общества даже в эпоху “развитого социализма” был так уж низок. Напротив, он был никак не ниже морального уровня в обществах индустриально развитых странах хотя бы потому, что в СССР сохранялись еще значительные элементы традиционного общества. Просто провозглашаемая мораль была так удалена от “земли”, что соблюдение ее даже для порядочного человека оказывалось весьма затруднительным, и при этом любые отступления от этой морали, в особенности со стороны “верхов”, воспринимались особенно болезненно. В противоположность этому “западное” общественное сознание (или подсознание) так или иначе исходит из представления о греховности “человеческой природы”, и даже церковь отпускает грехи раскаявшимся. Иначе говоря, разрыв уменьшается не только и, может быть, не столько путем возвышения оперативной морали до официальной, сколько удерживанием этой самой официальной морали от чрезмерного возвышения.

В России на рубеже 90-х гг. разрыв между официальным и оперативным “кодами” морали, казалось бы, должен был увеличиться. Действительно, коммунистическая (или квазикаммунистическая) мораль была объявлена сугубо классово и в этом смысле низкой, и ее, согласно официальным заявлениям, следовало заменить общечеловеческой (в том числе христианской). Поскольку же речь шла о периоде первоначального накопления капитала, практическая мораль, естественно, стать выше уж никак не могла. На практике, однако, произошло иное — раздвоение самой официальной морали. В средствах массовой информации и даже со стороны официальных лиц призывы соблюдать христианские заповеди поразительным образом сочетались даже не с их нарушением на практике (это дело обычное), но с пропагандой прямо противоположных ценностей. Популярны журналисты, комментаторы и политики регулярно внушали аудитории, что в криминальном характере новейшего российского капитала нет ничего плохого, что все страны прошли тем же путем, что в конце концов потомки вчерашних пиратов, воров и “разбойников с большой дороги” цивилизовались и стали двигателем прогресса и т. д., и т. п., и пр.

Еще дальше пошел Г. Х. Попов, опубликовавший в “Аргументах и фактах” известное интервью, в котором фактически призывал, не больше не меньше, как установить официальные размеры взятки чиновникам, чтобы покончить с их беспределом! Вот отрывок из этого интервью. На предложение

корреспондента: “Тогда уж надо создать тарифы за услуги, чтобы люди не мучились, кому сколько давать в лапу”,— Г. Х. Попов ответил: “Может быть, это было бы правильно. Это была бы уже иная, более культурная система. Я всегда нервничаю, когда не знаю, кому сколько надо дать, хотя хочется за что-то отблагодарить человека. А по тарифам было бы просто: скажем, 10—20% от стоимости сделки. В Америке так и говорят: 15% к счету. И все довольны друг другом. Можно ли это назвать коррупцией? Можно. Но можно и дополнительной оплатой хороших услуг” (Попов Г. Интеллигенция всегда в оппозиции. Беседа корреспондента Н. Желноровой с мэром г. Москвы Г. Поповым // Аргументы и факты.— 1992.— № 14.— С. 1). В любой “цивилизованной” стране, даже там, где взятки стали системой, подобное предложение, сделанное официально, вызвало бы шок в общественном мнении и немедленную отставку разоткровенничавшегося политика. Однако в России реакции практически не последовало, что может расцениваться как свидетельство глубокой аномии в “верхах” и социопатии — в “низах”.

Все сказанное коротко можно обобщить следующим образом. Поскольку каждая революция отрицает специфические нормы и ценности прежней системы, поскольку она разрушает эту систему с помощью насилия в той или иной форме, т. е. методами, по обычным неревOLUTIONНЫМ меркам противозаконными, каждая революция выступает как криминальная. Отличие новейшей российской революции состоит в том, что, так сказать, “исторический криминал” она дополнила и соединила с криминалом бытовым, с расхищением общественного богатства в пользу революционеров и временным возведением такого расхищения в ранг государственной политики. Это во многом предопределило тот факт, что по масштабам личности и нравственному уровню при сравнительно-историческом анализе лидеры новейшей революции явно уступают лидерам революций предшествующих, в том числе и в своем Отечестве.

Что касается социопатий, то и их новейшая российская революция конечно не избежала, причем формы проявления, соответствующие двум описанным выше подходам, нашли в ней свое воплощение. Как и любое социальное потрясение, она выбросила на поверхность политической жизни некоторое количество психически неуравновешенных людей, временами существенно влиявших на ход событий. Конкурирующие политические организации даже изобрели для такого человеческого материала специфические термины “демшиза” и “комшиза” соответственно. Каждому, кто бывал на политических митингах, подобный контингент знаком. Российская политическая сцена знает людей, которые, будучи сами вполне психически уравновешенными, специально работают на рост психосоциальных патологий и соответствующие группы населения.

С другой стороны, гораздо более интересны многочисленные ситуации, когда поведение вполне нормальных людей может квалифицироваться как психосоциальная патология, причем нередко сами они “задним числом” признают “затмение сознания”. Не раз констатировали это и внешние наблюдатели. Так, Джон Гэлбрейт, которого трудно заподозрить не только в симпатиях к правившей КПСС, но и в левых взглядах вообще, в начале 1990 г. с тревогой констатировал, что в России дискуссия по ряду аспектов перестройки приближается к легкому помешательству, и предупреждал о крайней опасности синдрома упрощений (Гэлбрейт Дж. К. Почему правые не правы // Известия.— 1990.— 1 февраля.— С. 5). Заголовок и содержание статьи указывают на то, что Гэлбрейт правильно уловил одну из особенностей российских социопатий — произрастание большей их части на почве примитивизированного правого либерализма, подобно тому, как в 1917 г. большая часть социопатий произрастала на почве примитивизированного “левого коммунизма”.

Характерные для новейшей российской революции социопатии данного типа имеют некоторую специфику по сравнению с предыдущими революциями, причем как по содержанию, так и по форме. Содержание социопатии обычно напрямую связано с революционным лозунгом, мифом или утопией, восприятие которых приобретает патологический характер. Некоторые из таких мифов или утопий будут охарактеризованы позднее. Стоит заметить в этой связи, что не только достоинства бывают продолжением недостатков, но и, напротив, недостатки — продолжением достоинств. Так, некоторое “обмельчание” политических утопий периода новейшей российской революции имеет среди прочего своим следствием и относительно более слабые социопатии. Достаточно сравнить веру в близкий коммунизм с надеждой на мгновенное наполнение прилавков товарами, доступными для всех.

Что касается форм проявления социопатий, то если исходить из того, что они возникают главным образом в интеракции, в коммуникации людей, непосредственно взаимодействующих между собой, классификация таких групп могла бы стать одной из возможных основ для выделения разных форм социопатий. Например, в соответствии с классификацией революционных толп Гюстава Лебона можно выделить социопатии уличные и парламентские. Пример последней, не отделимый от личного опыта автора и навсегда врезавшийся в память, хотелось бы здесь привести.

Речь идет о голосовании 12 июня 1990 г. на Съезде народных депутатов России за Декларацию о ее государственном суверенитете. В канун голосования на Съезде шла острая борьба и ключевой пятый пункт, утверждавший, что законы России выше законов Советского Союза, прошел сравнительно небольшим числом голосов. И это не удивительно. Каждому здравомыслящему человеку должно было быть очевидно, что принятие Декларации, содержащей данный пункт, будет иметь, по крайней мере, два разрушительных следствия:

а) разрушение Советского Союза — ибо все республики, которые этого еще не сделали, объявят собственные законы выше союзных, что в лучшем случае будет означать превращение единого государства в аморфную конфедерацию;

б) шаг в направлении разрушения самой Российской Федерации, ибо часть российских автономий также неизбежно последует “дурному примеру”.

И тем не менее в решающий день за Декларацию проголосовали более 900 депутатов, против — 2, а 11, включая и автора этой книги, воздержались.

До сих пор в памяти стоят бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, которыми встретили результаты голосования объединенные в едином порыве бывшие партократы и демократы, которым вскоре суждено было также стать бывшими. Осталось в памяти и ощущение ирреальности происходящего, ибо невозможно было понять, как люди, находящиеся в здравом уме и твердой памяти, с восторгом разрушают государство, в котором родились и выросли, превращают в иностранцев миллионы соотечественников, включая собственных родственников и друзей. Существуют многочисленные более или менее обоснованные версии причин разрушения Советского Союза. Можно понять также психологические факторы, заставившие депутатов голосовать за “независимость России”: стремление обрести реальную власть и ощутить собственную значимость, давление избирателей и средств массовой информации и т. п. И все же рациональными соображениями объяснить всеобщий восторг разрушения, царивший в тот день, невозможно. Без понимания психологии толпы, описанной Фрейдом и Лебоном, подобные социопатии убедительной интерпретации не поддаются.

В канун парламентских выборов 1995 г. оппозиционные газеты опубликовали список депутатов, голосовавших против пятого пункта Декларации о суверенитете. Таким образом левая оппозиция стремилась откеститься от обвинений, в частности со стороны ЛДПР, в том, что она разделяет ответственность за разрушение Советского Союза. Список сыграл свою политическую роль, успокоив левый электорат. Мало кто при этом вспомнил, что большинство включенных в список голосовали за Декларацию в целом, лишив тем самым всякого смысла свою позицию в отношении ее пятого пункта. В контексте нашей проблемы публикация списка — свидетельство запоздалого прозрения и стремления хотя бы частично оправдать “помутнение разума” и “затмение сердца”, которое случилось в тот день и у закоренелых государственников.

Образование. Революция. Закон... М., 1999

ГЛАВА IX. РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПРАЗДНИК. НЕГАТИВНАЯ СВОБОДА И СИТУАТИВНОЕ РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

1. Феномен праздника и революционное сознание

До сих пор в настоящей работе анализировались исключительно такие характеристики революции как исторической ситуации, которые в аксиологическом плане могут рассматриваться либо как нейтральные, либо как негативные. Однако попытка ограничиться анализом этих характеристик наверняка была бы односторонней и уж во всяком случае не позволила бы понять, почему не только сами революционеры, но нередко и потомки воспринимали революции как звездные часы человечества, а религией любой революции был оптимизм. Не подлежит сомнению, что одинаково искренни были и Владимир Маяковский, считавший ярчайшим днем в своей жизни “двадцать пятое, первый день” (т. е. день Октябрьского вооруженного восстания), и Юлия Друнина, незадолго до суицида ассоциировавшая дни антикоммунистической революции 19—21 августа 1991 г. со строкой известной песни: “Три счастливых дня было у меня”.

Следует подчеркнуть еще раз: объяснение подобным социально-психологическим феноменам в соответствии с задачами этой книги мы будем искать не в отдаленных исторических последствиях

революции, а в ней самой; не в том, каким общественным отношениям революция открыла дорогу (хотя такое объяснение в ряде случаев могло бы оказаться самым продуктивным), но в природе самого революционного акта.

Ленин был прав, когда утверждал, что революция — праздник для угнетенных. Разве что стоило бы добавить, что это праздник и для будущих новых угнетателей. При этом революционному акту обычно бывает присущ почти весь набор признаков праздничного действия.

Как и любому действительному празднику, революции обычно предшествует ожидание, предчувствие, а со стороны революционеров — и предвкушение грандиозной исторической мистерии. И хотя на эту тему написана громадная литература, тем более в России, где для интеллигенции искать покой в бурях — привычное дело, приведем еще одно свидетельство, принадлежащее биографу человека, который известен не как политик, но главным образом — как композитор. Вот как описывает А. Лиштанберже состояние и мысли своего героя в канун революции 1848 г. в Германии.

“Вагнер очень хорошо понимал, что кризис, который готовился для него, был только началом того великого кризиса, которого ждала с минуты на минуту с мучительной тоской Саксония и вообще вся Германия. Ему казалось, что силы прошлого и силы будущего непримиримо поднялись друг против друга, и что с минуты на минуту должен завязаться решительный бой. Под этим впечатлением он написал... статью, в которой в самом возбужденном лирическом тоне он прославлял пришествие новой эпохи.

“Да! — восклицает он.— Скоро старый мир падет в прах, и новый мир восстанет из его обломков, ибо великая богиня революции спешит на крыльях бури с главой, осененной ореолом из молний, с мечом в одной руке и факелом в другой; взор ее мрачен, гневен, вид ее леденит кровь...” Она сеет ужас в сердцах тех, кто тоскливо хватается за прошлое: царедворцев, чиновников, денежных тузов, государственных людей и трусливых буржуа. “Несчастные!— кричит Вагнер этому стаду обезумевших от страха эгоистов.— Поднимите глаза, посмотрите на этот холм: там собрались лучшие из лучших; с трепещущим от радости сердцем ждут они зари нового дня. Смотрите, это — ваши братья, ваши сестры, это — несчастные, обездоленные, которые в жизни знали только одно страдание, до сих пор чужие на этой земле, созданной для радостей; все они ждут революции, которая томит вас; как избавительница, она вырвет их из рук этого жалкого мира и создаст новый мир, в котором все обретут счастье” (Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. — М.: Алгоритм, 1997.— С. 173).

Разумеется, революции как праздника ожидает не все общество, но лишь его часть, жаждущая любой ценой отринуть старый мир (обычно это часть, составляющая большинство политически активного меньшинства). Однако даже у противоположной части общества к ощущению грядущей катастрофы нередко примешивается ожидание грандиозного исторического спектакля и чувство своей сопричастности к нему, в то время как у сторонников революции предвкушение праздника иногда окрашивается в мрачные тона от предощущения катастрофы. Иначе говоря, все как будто находится в ожидании “пира во время чумы”, однако чувства одних акцентируются на первой части определения, тогда как чувства других — на второй.

В качестве необходимой и существенной характеристики праздника как феномена культуры в литературе неизменно отмечается карнавализация. “Праздник,— пишет, например, К. Жигульский,— это период исполнения особых общественных ролей открытым, публичным, коллективным образом. Независимо от того, проявляется ли публично обычная, нормальная общественная структура с ее иерархией или же на время создается иная, даже обратная структура, праздник всегда выступает периодом, когда подобные роли подчеркиваются, выражаются наиболее четко и недвусмысленно” (Жигульский К. Праздник и культура.— М.: Прогресс, 1985.— С. 174). Но разве не то же самое видим мы в революциях, по крайней мере, в большинстве политических революций нового и новейшего времени?

Хорошо известно, например, что французские революционеры конца XVIII в., решая задачи эпохи, облекались тем не менее в костюмы древних римлян, а революционеры середины XIX в. (1848—1850) — в костюмы своих предшественников из века XVIII (см.: Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 8.— С. 119). Не чужды были публичного исполнения особых общественных ролей особым образом и российские революционеры разных эпох. При этом декабристы предпочитали римские декорации, а революционеры 1917—1920 гг., хотя и с меньшей интенсивностью, чем их французские коллеги в середине XIX в., ассоциировали свое поведение с конституционалистами, жирондистами или якобинцами.

История революций вполне согласуется со следующим мнением М. М. Бахтина: “В эпохи великих переломов и переоценок, смены правд вся жизнь в известном смысле принимает карнавальную характер: границы официального мира сужаются, и сам он утрачивает свою строгость и уверенность,

границы же площади расширяются, а атмосфера ее начинает проникать повсюду” (Бахтин М. М. Сочинения в 7 томах. Т. 5.— М., 1996.— С. 112). М. М. Бахтин назвал и целый ряд непосредственно связанных с карнавализацией признаков народного праздничного действия, которые могут быть отнесены (отчасти и были отнесены самим Бахтиным) к действию революционному. Среди них:

ощущение почти неограниченной свободы, торжество (всплеск) народной, площадной стихии и противовес жестким рамкам ролевого поведения в обычной (непраздничной) жизни;

“обратная иерархия” (замена привычной системы социальных статусов, ролей, норм и ценностей принципиально иной, вплоть до противоположной — см. предыдущий раздел книги);

преодоление обыденности, приобщение к “большому” (чувству, действию), применительно к революции — ощущение себя маленьким человеком в качестве субъекта истории — “большим человеком сродни всему большому” (там же.— С. 58, 59);

крутой эмоциональный подъем (радость, надежда на будущее, неумеренный оптимизм), восприятие происходящего по формуле “Катастрофа веселая и обновляющая мир” (Бахтин М. М. Сочинения в 7 томах. Т. 5.— М., 1996.— С. 58, 59).

Некоторые из этих характеристик революции рассматривались в предыдущих разделах, на других самое время остановиться сейчас.

2. Праздник и свобода

Свобода — едва ли не главный лозунг любой революции нового и новейшего времени, и революции конца XX в. в этом смысле, конечно, не исключение. Объективный исторический смысл лозунга в революционных условиях был, по крайней мере, тройким.

Во-первых, его мобилизационный потенциал оказался едва ли ни самым высоким среди всех революционных лозунгов. Не случайно он выдвигался как в наборе с равенством, братством и отменой частной собственности, так и в прямо противоположном наборе — с частной собственностью, неравенством (ликвидацией уравнительности) и индивидуализмом. Исключительная привлекательность свободы как общественного отношения и ценности связана не только с культурными, но отчасти и с природными факторами. Известно, что гораздо легче присваиваются (говоря психологическим языком — интериоризируются) человеком именно те общественные отношения и ценности, к которым он расположен в силу своих природных особенностей. С этой точки зрения достаточно очевидно, что свобода как ценность имеет явные природные основания в виде так называемого “рефлекса свободы”. Сказанным о мобилизационном потенциале лозунга свободы можно и ограничиться, ибо в этом смысле революции конца XX в. мало отличаются от своих предшественниц, разве что последние требовали освобождения человечества от угнетения феодального или капиталистического, тогда как новейшие — от “угнетения коммунистического”.

Во-вторых, революции принадлежат к числу тех исторических ситуаций, когда свобода в ее негативном аспекте, “свобода от” действительно резко расширяется, хотя это расширение и имеет временный, ситуативный характер. Эта позитивная особенность революции, столь объединяющая ее участников, как ни странно, связана с двумя другими негативными особенностями и является их обратной стороной. Речь идет о ситуационных характеристиках революции как катастрофы и аномии.

Катастрофа, связанная, среди прочего, и с разрушением институтов социального контроля, расширяет внешние границы негативной свободы:

И больше нет городского —
Гуляй, ребята, без вина!

(Блок А. А. Двенадцать // Блок А. А. Поэмы.— М.: Сов. Россия, 1986.— С. 37.)

Аномия, связанная со снятием многих табу, раздвигает ее внутренние границы.

Повторю еще раз, что негативная свобода является атрибутом не только революционных, но и других исторических ситуаций, связанных с катастрофами и аномиями. Иллюстрацией этого утверждения могут служить стихи из Февральского дневника Ольги Берггольц (Берггольц О. Ленинградская поэма // Поэмы и стихотворения.— Л.: Худож. литература, Ленинградское отделение, 1976.— С. 19):

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Таковыми мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

Отличия негативной свободы в условиях революции заключаются не в самом ее (свободы) ощущении, а в его сочетании с другими характеристиками праздника, о которых речь пойдет ниже. Теперь же от психологического восприятия пора перейти к реальному положению.

Реальное развитие свободы в условиях революционной и постреволюционной ситуации происходит волнообразно, при этом расширение негативной свободы не обязательно сопровождается увеличением пространства свободы позитивной и наоборот. Негативная свобода достигает пика в первый период революции — в период революционной демократии (или анархии), сводится до минимума в ее второй период — период революционной или постреволюционной диктатуры (Тарасов А. Этапы революционного процесса // Альтернативы.— 1995.— № 4.— С. 158—159), а затем вновь постепенно расширяется. В этом, как уже отмечалось, проявляется, среди прочего, и феномен “маятника”.

Что касается свободы позитивной, “свободы для”, то для широких слоев народа она обычно достигает нижней критической границы как раз в период революционной катастрофы, которая, в свою очередь, может достигать наибольшего размаха как при революционной демократии, так и при революционной или постреволюционной диктатуре. Обычно наибольшая глубина падения приходится на конец первого из этих периодов и начало периода второго, тогда как экономический подъем обычно приводит не только к расширению позитивной свободы, но и к краху постреволюционной диктатуры, раздвигающему вместе с тем и границы свободы негативной.

В отношении российской революции 90-х гг. ограничимся пока следующим общим замечанием. По сравнению со своими предшественницами (например, революцией 1917 г.) новейшая российская революция гораздо меньше ограничивала негативную свободу граждан, используя в качестве главного средства управления не столько прямое насилие, сколько средства массовой информации. Однако с точки зрения позитивной свободы ее результаты для большинства граждан при сопоставлении за сравниваемый исторический период относительно мирного постреволюционного развития значительно проигрывают.

Другое отличие состоит в том, что предшествующие революции расширяли позитивную свободу отнюдь не только для номенклатуры и членов правящей партии, как пишут в последние 10 лет, но и для представителей групп, имевших прежде низкий социальный статус, в особенности для рабочих. Революции же конца 80—90-х гг., в том числе и “вторая русская революция”, резко расширили границы позитивной свободы для богатых и существенно — для обеспеченных и столь же резко ограничили ее для малообеспеченных и бедных. И если У. Пальме назвал “бунтом богатых” неоконсервативную волну на Западе, то в несравненно большей степени относится эта характеристика к новейшим революциям в Восточной Европе и России.

3. Приобщение народа к историческому действию

Революции нового и новейшего времени, равно как и отечественные войны, принадлежат к числу тех исторических ситуаций, когда на авансцену истории выходит его величество народ. Помимо ощущения почти неограниченной свободы, всплеска народно-площадной праздничной стихии, это порождает и другое следствие: в такие периоды “маленький человек” начинает чувствовать себя субъектом истории, “большим человеком сродни всему большому” (М. М. Бахтин). Чувство это, подобно ощущению свободы, сравнительно мало зависит от содержания революции и ее направленности. В мемуарной и специальной литературе оно описано самыми разными людьми, включая участников событий в июле 1789 г., октябре 1917 г. и августе 1991 г. Если же от ощущения “маленьким человеком” себя в качестве субъекта истории обратиться к его (человека) действительной роли, то она окажется весьма противоречивой.

Вряд ли может быть оспорен тот факт, что активной части народа принадлежит главная роль в разрушении дореволюционной системы, и в этом смысле “маленькие люди”, принявшие участие в таком разрушении, безусловно, становятся субъектами исторического действия. Не случайно впоследствии именно этот момент чаще всего фиксируется в исторической памяти народа как праздник. Гораздо труднее анализировать роль “человека из народа” в создании системы постреволюционной.

Во-первых, как было показано ранее, результаты революции сплошь и рядом бывают неожиданными даже для революционеров и революционных вождей, более того, противоположными первоначальным прекрасноречивым лозунгам. Но если уж в революциях лидеры нередко вынуждены идти за событиями, а не вести их за собой, выступать в качестве проводников “общей воли”, но никак

не штурманов исторического процесса, стоит ли говорить о рядовом гражданине, пусть даже и чувствующим себя “большим человеком”? И этот вопрос отнюдь не снимается тем, что “общая воля”, управляющая событиями, складывается из усилий тысяч и миллионов таких граждан, поскольку сам “маленький человек” обычно оказывается игрушкой общественных сил, вызванных им к жизни совместно с другими “маленькими людьми”, еще в гораздо большей степени, чем политические лидеры. В таких условиях чувство собственной субъектности, возникшее у “человека из народа” в период разрушения прежней системы, нередко превращается в иллюзию либо через некоторое время может смениться разочарованием и ощущением своей полной подвластности враждебной судьбе.

Дав характеристику послеоктябрьского поколения в поэтических строках:

Мы были сваями моста
Из камня и металла.
По нашим сомкнутым плечам
История шагала

(Смольников А. Мои ровесники.— М.: Мол. гвардия, 1968.— С. 13),— их автор сказал не совсем то, что хотел, а, может быть, больше, чем хотел. Хотел, по-видимому, сказать о выдающейся роли поколения как коллективного исторического субъекта, но получилась, скорее, “проговорка”, поэтический парафраз на тему марксова высказывания об историческом процессе, который совершается “за спиной” участников исторической драмы, с той лишь разницей, что в представлении поэта история шла не “позади”, но “по головам” людей экстраординарного поколения, превратившихся в “сваи моста”.

Во-вторых, хотя ведущая роль в создании постреволюционной системы всегда принадлежит экономической и политической элите и выполняющей ее волю бюрократии, степень реального участия “простых граждан” в этом процессе, их реальная историческая субъектность во многом зависят от того, интересы каких общественных групп представляет новая элита и в каких группах она видит свою социальную и политическую опору. В этой связи заслуживают переосмысления некогда хрестоматийные, а ныне забытые по политическим мотивам мысли Ленина. Как известно, он полагал, что в буржуазных революциях задача народа ограничивается разрушением прежней системы, поскольку создание новой вполне по силам правящему меньшинству, опирающемуся на постоянно растущий вширь и вглубь рынок. Напротив, после социалистической революции новую систему приходится создавать сознательно, а это могут сделать только широкие массы. Задача же правящей партии — организовать их деятельность в качестве самостоятельности (см., например: Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-ое изд. Т. 36.— С. 53, 380; более подробный анализ см.: Смолин О. Н. В. И. Ленин о культурной революции как факторе формирования социалистического образа жизни // Вклад вузовской науки в дело ускорения научно-технического и социального прогресса. Тез. докл. юбил. науч.-практ. конф., Омский пединститут, 8—10 декабря 1986 г. Ч. II.— Омск: ОГПИ, 1986). Что же касается причин, породивших в конце концов неудачу реализации концепции самостоятельности народа как главного фактора создания нового общества, то на этот счет есть разные мнения. Одни полагают, что дело в самой самостоятельности и неспособности “кухарок” управлять государством; другие — что причина кроется в чрезмерной бюрократизации общества, покончившей в конце концов с большинством видов такой самостоятельности. Этот вопрос выходит за пределы нашей темы, но, говоря объективно, в какой-то степени эта концепция реализовалась: Советская власть открыла социальным низам дорогу к образованию и привлекла их к управлению на разных уровнях. Как будет показано ниже, это стало одним из факторов, обеспечивавших значительную продолжительность революционно-оптимистических настроений в СССР.

Новейшая российская революция поначалу тоже провозгласила лозунг опоры на народную самостоятельность в строительстве “новой России”, хотя использовать эту самостоятельность предполагалось в прямо противоположном направлении. Вслед за Президентом представители политической элиты дружно начали повторять, что теперь каждый сможет обзавестись собственным “делом” и что стране нужны не “сотни миллионеров, а миллионы собственников”. Оставляя до следующих разделов анализ лозунга о ваучерной приватизации в качестве “народной”, стоит заметить, что новейшие революционеры очень быстро от него отказались. Вместе с ним была похоронена и идея народной самостоятельности как необходимого условия создания новой государственности. Жалуясь на бюрократию и “олигархов”, новая власть очень быстро сделала их своей опорой и центром внимания, позабыв, что еще совсем недавно обещала превратить каждого в хозяина жизни и “вот такого миллионера”.

4. Праздник и революционный оптимизм

Чувства свободы и необыкновенности происходящего, столь роднящие революцию и праздник, порождают еще одну общую для них черту — крутой эмоциональный подъем, ощущение радости и необъяснимый с рациональной точки зрения оптимизм. Может быть потому, что это чувство во многом иррационально, пожалуй, лучше всех его выражают художники, деятели искусства. Каждый, кто хоть немного знаком с историей литературы, без труда приведет тому примеры. А поскольку таких примеров тысячи и тысячи, не станем все упоминать имя классиков типа В. Маяковского или А. Блока. Ограничимся высказываниями авторов не столь именитых, но не ставшими, однако, от этого менее достоверными. Вот что 10 лет назад писал Борис Васильев, которого трудно заподозрить в конъюнктуре и угодничестве перед властью (да и время было уже не то), об Октябрьской революции 1917 г.: “Революции даруют свободу не только обществу, но и личности. И сквозь кровь и вопль гражданской войны подавляющее большинство наших сограждан получило эту свободу, как осознанную необходимость”. Отметив далее, что именно свобода делала завоевания революции лично принадлежащими каждому, писатель продолжает: “Это реальное чувство личной свободы, личной причастности к судьбе государства и питало неистовый энтузиазм первых пятилеток, затаившая алым кумачом черные бездны лагерей” (Васильев Ю. Завидую внукам // Известия.— 1988.— 1 января.— С. 3).

А вот почти одновременно изложенное в стихах мнение поэта Валентина Берестова (цит. по: Диалог. Общественно-политический и литературно-художественный журнал ВОС.— 1989.— № 4), где оптимистические надежды связаны уже с ожиданием новой революции, прямо противоположной по направленности:

Страна всплывает, как со дна морского,
Вся в водорослях, тине и грязи.
И столько здесь волнения мирского
(Взывай, взрывайся, вязни, вывози).
Что чуда настоящего не видишь,
Хотя почти немислимо оно.
А это возникает Китеж,
Когда-то канувший на дно.

Справедливости ради следует сказать, что грядущая катастрофа казалась воскресением града Китежа отнюдь не только поэту, но также широким слоям населения и даже большинству профессиональных политиков, по крайней мере, тех, кому удавалось получить доступ к средствам массовой информации. При этом драматический опыт предыдущих революций, кажется, почти никого и почти ничему не научил.

Историческая роль революционного оптимизма крайне противоречива. С одной стороны, он во многом помогает людям перенести катастрофические последствия революций и нередко сопровождающих их гражданских войн. Без учета этого фактора невозможно понять те граничащие с чудом примеры терпения, самоотверженности, воли, героизма, которыми так богата история любой великой революции. С другой стороны, в психологическом плане революционный оптимизм нередко оказывается сродни опьянению, заставляет не только массы, но и лидеров многократно преувеличивать реальные возможности и совершать стратегические ошибки. Именно об этом говорят строки Федора Тютчева, адресованные декабристам и проникнутые одновременно осуждением, горечью и уважением (Тютчев Ф. И. Стихотворения.— М.: Советская Россия, 1976.— С. 25):

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить.

Другой пример относится уже к области не поэзии, но теории. Не традиционный и отнюдь не бесспорный, но весьма интересный анализ воздействия массовых революционных настроений на программу и поведение революционеров и на дальнейший ход исторических событий был выполнен А. П. Бутенко. Проанализировав многочисленные высказывания В. И. Ленина с апреля по октябрь 1917 г. и приведя их в систему, автор пришел к нескольким выводам.

Во-первых, следующая за Февралем российская революция мыслилась Лениным в этот период отнюдь не в качестве социалистической, но как радикальная демократическая революция, способная

обеспечить, соответственно, не непосредственное “введение социализма”, но лишь подходы к решению социалистических задач. Во-вторых, резкое изменение позиции лидеров большевизма произошло в период Октябрьского вооруженного восстания и сразу после его победы (см.: Бутенко А. П. Правда и ложь о революции 1917 года // Социс.— 1997.— № 2.— С. 40—44, 46). В-третьих, цитирую: “Революционная эйфория, видимо, была главной причиной, подтолкнувшей Ленина и большевиков на согласие с подобными решениями” (т. е. с курсом, направленным на непосредственный переход к социализму). “Насколько сильна была в тогдашнем обществе вера в близость социализма, в необходимость такого выбора и такого пути, свидетельствует и то, что даже в Учредительном собрании, открывшемся в марте 1918 г. (на самом деле в январе.— О. С.), партиям “социалистической ориентации” (социал-революционерам и социал-демократам) принадлежало более 85% мест” (там же).

Разумеется, выводы А. П. Бутенко имеют гипотетический характер, однако сам факт революционной эйфории в 1917 г. (как, впрочем, и в любой другой революционный период), а равно и ее влияние на ход политического процесса вряд ли могут быть оспорены.

Как уже отмечалось выше, новейшая российская революция вполне отвечает и этому общему для исторических ситуаций данного типа правилу. Все без исключения официально провозглашенные программы преобразований предреволюционного, а особенно революционного времени, по своей оптимистичности ничем не уступают многократно заклеянным программам первых советских пятилеток, а с точки зрения расхождения поставленных целей и результатов значительно их превосходят. Сопоставляя программы “400 дней”, “500 дней”, обещания кандидата в Президенты Б. Н. Ельцина в канун выборов 1991 г. (о том, что уже через год после его прихода к власти и начала “радикальных реформ” цены в России начнут падать, а заработная плата расти), повторяющиеся из года в год заявления о наступающей или уже наступившей экономической стабилизации, не стоит поддаваться искушению упрощенных трактовок и безоговорочно объявлять все это преднамеренной ложью, хотя в некоторых случаях это имело место. Гораздо глубже, а вместе с тем и ближе к истине, выглядит предположение о том, что российские политические лидеры 90-х гг. точно так же поддались революционной эйфории, как лидеры большевизма в 1917-м и в последующие годы.

Впрочем, гораздо труднее сделать такое предположение в отношении супероптимистических заявлений постреволюционного периода. Одно из них было сделано А. Чубайсом на пленуме партии “Выбор России” в июне 1997 г.

“Реформа, которая была начата Гайдаром, командой Гайдара в 1992 году в тяжелейших условиях, реформа, которая несколько раз была на волоске, сегодня, в эти дни, получила абсолютно уникальный для России исторический шанс быть доведенной до результата, причем до результата, который будет очевиден всем, в том числе и тем, кто физиологически ненавидит все, что мы делали, делаем и будем делать.

У нас твердая, сплоченная команда. За нами мощнейший интеллектуальный потенциал — лучший потенциал — лучший сегодня не только в России, но и в мире. Мы убеждены в том, что мы сумеем реализовать те цели, которые ставили перед собой еще в 1992 году.

Мы понимаем, что сегодня мы можем говорить о подъеме производства так, как ни один коммунист никогда за всю свою жизнь не говорил, не говорит и уже не скажет.

Сегодня мы можем защищать ценности патриотические, государственные ценности так, как ни один коммунист этого не сделает, потому что все его лозунги — пустые слова по сравнению с нашими пониманием того, как и каким образом мы этого можем достичь.

Я думаю, что сегодня мы действительно проходим поворотный этап. Я думаю, чтобы решить те задачи, которые приходилось решать нам в 1992 году и раньше, нужно было просто совершить чудо. Это чудо было совершено” (Чубайс А. Сегодня мы можем защищать патриотические, государственные ценности так, как ни один коммунист этого не сделает... (Выступление на Пленуме Совета партии ДВР 12 июня 1997 г.) // Демократический выбор.— 1997.— № 25 (49).— 19 июня).

Поскольку экономическая и политическая ситуация к 1997 г. не могла уже оставлять никаких сомнений даже у самых фанатичных приверженцев новой системы, подобные заявления напоминают, скорее, не наивные в чем-то иллюзии поколения 1917 г., но казенные и высокопарные заявления Леонида Брежнева на XXVI Съезде КПСС.

Повторим еще раз: святая вера в “светлое будущее”, оптимизм — религия любой революции. Однако интенсивность и длительность такого восприятия происходящих событий существенно меняются в зависимости от того, о какой именно революции идет речь. Интересное наблюдение по этому поводу неожиданно встречаем в книге М. Джиласа “Новый класс”, ставившей своей задачей критический анализ коммунистических революций.

“Иллюзии рождает каждая революция, каждая война даже. Но ведутся они во имя неосуществимых идеалов, мнящихся борцам в пылу битв столь реальными. Кончаются битвы, и с ними, как правило, испаряются иллюзии, бледнеют идеалы. В коммунистической революции не так.

Иллюзии, ею рожденные, очень долго еще живут и в тех, кто за нее боролся, и в массах. Насилие, произвол, открытый грабеж, привилегированность правителей — даже все это не в силах освободить часть народа, не говоря уже о коммунистах, от слепой веры в революционные лозунги. Какой-никакой, “а все-таки социализм”; жестоко и неожиданно, но “все равно продвигаемся к бесклассовому обществу”... Вера и надежда человеческие долго еще живут и после завершения индустриализации” (Джилас М. Лицо тоталитаризма.— М.: Новости, 1992.— С. 191).

Совершенно очевидно: интенсивность и длительность революционно-оптимистических настроений в условиях “реального социализма” объясняются не только тем, что коммунистическая идея действительно отражает многотысячелетние идеалы человечества, и еще в гораздо меньшей степени тем, что в условиях постреволюционной диктатуры вера в “светлое будущее” поддерживалась всеми средствами — от пропаганды до террора (последний скорее уничтожал подобное мироощущение), но прежде всего тем, что эта вера подкреплялась реальным движением общества вперед, повышением уровня цивилизации, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения. Выше уже отмечалось, что в период экстенсивной индустриализации темпы развития общества советского типа были значительно выше, чем стран “Запада”, а в большинстве стран, избравших “советскую модель”, — выше, чем в предреволюционный период. Что касается воздействия этого индустриального развития на общественную психологию, то следовало бы вновь осмыслить многочисленные свидетельства деятелей культуры, являвшихся отнюдь не сторонниками, но, напротив, критиками “тоталитарного режима”. Вот, например, свидетельство из книги Ильи Эренбурга “Люди, годы, жизнь”:

“На строительстве магистрали Москва — Донбасс было собрание. Один землекоп, в бараньей шапке, с обветренным лицом, говорил: “Да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов! Они жрут, жрут и дохнут — сами не знают, для чего живут. Такой прогадает, смотришь — повесился на крюке.

А мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь мир смотрит...” (Эренбург И. Люди, годы, жизнь.— М., 1966.— С. 602).

“В жизнь входило новое поколение — юноши и девушки, родившиеся накануне первой мировой войны; для них царь, фабриканты, городские были отвлеченными понятиями. Больше домен и мартеновских печей меня интересовали эти новые люди — будущее нашей страны” (там же.— С. 604, 606—607).

“Несмотря на суровый быт, рождались новые чувства, мысли; юноши и девушки часто при мне спорили, существует ли вечная любовь, можно ли оправдать ревность, принижает ли комсомольца грусть, нужны ли строителям стихи Лермонтова, музыка, часы одиночества” (там же.— С. 604, 606—607).

Другая зарисовка принадлежит перу Юрия Нагибина в его повести “Встань и иди”. Приехав к отцу, сосланному за несовершенно преступление, сын был поражен случившейся с ним переменой: “Он стал энтузиастом в том высоком смысле, каким исполнено было это определение в пору подъема и чаяний второй пятилетки. К своей вере он пришел не умозрительно, как иные, он “вработался” в нее, впервые оказался причастен к настоящему, горячему делу. Этому способствовали беззлобие, интеллигентская жертвенность и презрение к капитализму — плод юношеского увлечения марксистской философией” (Нагибин Ю. Встань и иди // Нагибин Ю. Вдали музыка и огни: Повести и рассказы.— М.: Современник, 1989.— С. 37).

Парадокс эпохи состоял в том, что термин “социальный оптимизм” в качестве официального лозунга и характеристики “социалистического образа жизни” был выдвинут в период брежневского “застоя”, т. е. как раз тогда, когда действительные волны постреволюционного оптимизма резко пошли на убыль. Впрочем, и тогда этот лозунг опирался на определенные реальные основания в виде относительной стабильности социальной системы — пусть даже стабильности, поддерживаемой отчасти искусственно и, как выяснилось, недолговечной.

Новейшая российская революция, как и положено революции некоммунистической (точнее, антикоммунистической), подпадает под правило, выведенное М. Джиласом: с ее завершением восторженно оптимистические обещания слышны, пожалуй, лишь от тех, кому это положено по должности, да и то нечасто. Прочитанное выше высказывание А. Чубайса представляет скорее исключение, нежели правило. Большая же часть населения, не желая возврата назад, оказалась вместе с тем глубоко разочарованной результатами политики “реформ”. Это относится не только к

тем, кто в очередной раз попал под колесо истории, но в значительной степени и к тем, кто это колесо вращал.

Сохраним верность стилю данного раздела работы, где теоретические положения иллюстрируются не столько политическими примерами или результатами конкретных социологических исследований, сколько художественным материалом. Конечно, материал этот не удовлетворяет критерию всеобщности, но зато, подобно практике, обладает достоинством непосредственной действительности, отражая глубинные пласты культуры, связанные не только с сознанием, но и с подсознанием людей.

В свое время популярнейшая группа “Наутилус Помпилиус” сделала немало для низвержения системы, где “круговая порука” заставляет людей быть “скованными одной цепью, связанными одной целью”, и предсказывала “за красным восходом — розовый закат”. Тогда подобное настроение было почти всеобщим.

И вот по окончании революционного праздника появляется новый “хит” той же группы, заслуживающий специального комментария не только культурологов, но и политологов. Впрочем, для экономии времени ограничимся подстрочными замечаниями лишь к одному куплету из постперестроечной песни В. Бутусова и И. Кормильцева.

Раньше у нас было время

(“раньше” — период не “застоя”, но предчувствия революции и ее начала; “время” — историческое: свидетельство ощущения собственной исторической значимости) —

Теперь у нас есть дела

(возвращение с исторического уровня на обыденный, бытовой)

Доказывать, что сильный жрет слабых

(восхвалять “дикий” рынок и конкуренцию),

Доказывать, что сажа бела

(уверять, что все хорошо и страна идет единственно верной дорогой).

Мы все потеряли что-то

В этой безумной войне

(т. е. в революционной борьбе с прошлым и друг с другом).

Кстати, где твои крылья,

Которые нравились мне?

(вместе с ощущением исторического масштаба времени и собственных действий, вместе с окончанием праздника исчезли и “крылья”, т. е. светлые надежды кануна и первых лет революции).

Метод аналогий позволяет сформулировать, как минимум, три причины, объясняющие непродолжительность революционно-оптимистических настроений в России конца 80—90-х гг.

Первая, и, видимо, главная причина — глубина и длительность всеобщего кризиса, явное преобладание антимодернизационных, противои-виллизационных тенденций над тенденциями модернизаторскими, процивилизационными (см. раздел “Революция как катастрофа”).

Вторая — относительно меньшая жесткость внедрения новой идеологии в массовое сознание. Разумеется, ввиду колоссального развития средств массовой информации плотность информационных потоков на сознание народа в конце 80—90-х гг. была не ниже, а выше, чем, например, в 30-х, но при этом плюрализм в значительной мере сохранялся, а насилие имело гораздо меньший размах и несравненно более мягкие формы. Все это позволяло гражданам судить о реальных общественных процессах не только на основе собственного опыта, но и иных источников информации, пусть даже и весьма ограниченных, но не совпадающих с официальными.

Наконец, третья причина — отсутствие привлекательной идеологии, масштабного и продуктивного исторического мифа. Последней проблеме и будет посвящен следующий раздел книги.

* * *

В заключение краткой характеристики революции как праздника попытаемся ответить на риторический вопрос, поставленный в начале этого раздела. Многие революции остаются в памяти потомков как “звездные часы” человечества не только в силу своих объективных последствий и не только потому, что некоторые из них открывают для него новые пути развития. С интересующей нас точки зрения не менее важна субъективно-психологическая сторона, а именно: революции — это те исторические периоды, когда значительная часть людей ощущает ослабление психологического отчуждения от общества.

В свое время Эрих Фромм выделил три основные способы снятия такого отчуждения: оргиастический; растворение человека в группе (толпе); творческая деятельность. При этом автор “*Души человека*” полагал, что анализирует проблему отчуждения в целом, тогда как на самом деле из контекста работы видно, что речь шла главным образом о его психологических аспектах и лишь отчасти — об аспектах социальных. Если принять точку зрения Э. Фромма в качестве рабочей гипотезы, то совершенно очевидно, что революции используют все названные противотчужденческие механизмы. Отсюда и то праздничное настроение, ощущение свободы и счастья, которое обычно посещает участников, да и многих “зрителей” естественно-исторического представления, именуемого революцией. Однако, как и в житейском быту, лишь только заканчивается праздник, на смену окрыленности приходит обыденность, а нередко и горькое похмелье...

Образование. Революция. Закон...М., 1999

ГЛАВА X. МИФОЛОГИЗАЦИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ КАК ФЕНОМЕН РЕВОЛЮЦИИ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ УТОПИИ И РЕАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Подобно другим характеристикам революции, мифологизация сознания, формирование социальных и политических утопий являются обязательными признаками данного типа исторических ситуаций, но не могут быть отнесены к признакам, характеризующим исключительно этот тип, и никакой другой. Расширяя предмет анализа, обобщая и существенно упрощая все многообразие существующих концепций, можно сказать, что в социогуманитарных науках существует, по крайней мере, два основных подхода к проблеме социальных и политических мифов и их роли в общественной жизни людей.

Первый подход, который ориентирует социальное познание на идеалы познания естественно-научного и может быть условно назван сциентистским, исходит из того, что социальные и политические мифы — явление безусловно вредное, а избавление от них — одна из важнейших и актуальнейших задач науки и практики. Сторонники этого подхода по своим научным предпочтениям могут принадлежать к различным социологическим парадигмам (технологическому детерминизму, социально-экономическому детерминизму, социокультурному детерминизму, функционализму и т. п.), а по политическим ориентациям — к различным течениям общественной мысли — от либерального до марксистского. Справедливости ради надо сказать, что последние выступают за исторический подход к социально-политическим мифам и утопиям, стремятся выявить их социальные корни, однако в лице большинства своих представителей, как правило, признают прогрессивность лишь домарксистской утопической мысли и разделяют общую антимифологическую ориентацию, характерную для данного подхода.

Приведем характерные примеры из справочных изданий, пренебрегая до поры различиями между мифом и утопией в политике, а также между утопиями политическими и социальными. “Марксистская социология рассматривает утопию как одну из форм неадекватного отражения социальной действительности; однако в прошлом утопия выполняла важные идеологические, воспитательные и познавательные функции”. И далее, “хотя возникновение научного социализма подорвало социальное значение утопии, лишило ее многих прежних функций, утопия не утратила своей роли в качестве специфического жанра литературы” (Философский энциклопедический словарь.— М.: Советская энциклопедия, 1989.— С. 680). “Утопия политическая — иррациональное состояние политического процесса и политического сознания, которое препятствует нормальному предварительному рассчитанному исполнению политического проекта, сильно изменяет его конечные результаты или делает их получение невозможным” (Политология. Энциклопедический словарь.— М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993.— С. 380).

Не давая пока специального комментария, заметим мимоходом, что почти все значительные политические и социальные концепции (включая самые модные в современной России — гражданского общества и правового государства) возникали как утопические проекты (см.: Кравченко И. Рациональное и иррациональное в политике (утопические аспекты политического сознания) // *Вопросы философии*.— 1996.— № 3.— С. 4), что наличие социально-политической утопии при определенных условиях не только не является препятствием реализации политического проекта, но, напротив, представляет собой одно из необходимых условий его частичного исполнения, причем речь идет об исторических проектах, грандиозных по масштабам. Аргументация этого тезиса — дело будущего. В данном же случае достаточно указать на то, что рассматриваемый подход отчетливо проявляется не

только в изданиях советского и перестроечного периода, но также и периода постсоветского, постперестроечного. Поэтому его нельзя связывать исключительно или главным образом с марксизмом.

Среди сторонников второго подхода также можно найти специалистов разных наук и политических ориентаций (как левых, так и правых). Однако при этом акцентируется обычно специфика социогуманитарного познания, а не его общенаучная природа, да и принадлежат соответствующие специалисты в большинстве своем к антропологическому либо психологическому детерминизму (в особенности же — к психоаналитическому направлению последнего).

Так, Карл Юнг различал, как известно, два типа мышления (психических процессов). Первый тип — логическое мышление, которое направлено на приспособление к внешнему миру вербально и представляет собой инструмент и порождение культуры. Проявляется оно в науке, технике, индустрии. Второй тип — ненаправленное мышление, которое представляет собой поток образов, игру воображения и является необходимым условием духовного творчества, мифологии, религии и т. п. Гипертрофия первого типа мышления, по Юнгу, приводит лишь к тому, что люди становятся богатыми в познаниях, но бедными в мудрости. Второй тип мышления так же необходим, как и первый, но его функция — адаптация человека к его собственному внутреннему миру, установление гармонии с ним. С этой точки зрения демифологизация сознания не только не необходима, но, напротив, вредна. По Юнгу, цивилизация, утратившая своих богов и свои мифы, обречена, ибо миф придает смысл настоящему. Разрушение же мифа приводит к ощущению бессмысленности существования (подробнее см.: Руткевич А. М. К. Юнг об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии.— 1988.— № 1.— С. 124—133).

Вряд ли стоит подробно говорить о том, что в советский период подобный подход подвергался в отечественной литературе критике, не всегда справедливой и, более того, не всегда вполне марксистской. Гораздо интереснее заметить другое. Уже в период постсоветский вслед за социальными кентаврами (феноменами, причудливо сочетающими плохо совместимые, подчас противоположные общественные отношения) появилось немало странных теоретических гибридов, включая, например, такие, как сочетание в одной и той же работе призывов к демифологизации сознания с утверждениями о возможной положительной роли социальных мифов (см., например: Чудинова И. М. Политические мифы // Социально-политический журнал.— 1996.— № 6.— С. 122, 130—131).

Представляется, что, как и в известной истории с царем Соломоном, в известной мере правы сторонники обоих подходов, однако содержащаяся в каждом из них доля истины проявляется в отношении различных объектов. С некоторыми оговорками в первом приближении можно сформулировать следующий тезис: демифологизация является безусловно важной (но не столь же безусловно выполнимой) задачей социальной науки по отношению к ней самой, но отнюдь не обязательно — по отношению к массовому сознанию.

Пояснения ко второй, наиболее спорной части этого утверждения будут даны ниже. Первая же его часть прямо вытекает из природы науки, смысл и назначение которой, как известно, заключается в поиске объективной истины. Однако в отношении наук социогуманитарных здесь требуется, по крайней мере, две оговорки.

Во-первых, социальное познание всегда имплицитно содержит в себе оценку, вполне избежать которой не удавалось даже тем ученым, кто это декларировал. Не случайно специалисты одной и той же социо-гуманитарной науки, принадлежащие к различным политическим ориентациям, нередко категорически расходятся в оценке одной и той же теоретической конструкции вплоть до того, что одни объявляют ее едва ли не абсолютной истиной, а другие — мифом!

Во-вторых, если сказанное справедливо для прошлого и настоящего, то вдвойне справедливо — для будущего. Как уже отмечалось выше, прогнозы в социальных науках не могут быть в точности подобны астрономическим. Претензии футурологов должны ограничиваться, скорее, набором возможных сценариев развития и определением вероятности реализации каждого из них. Если прибавить к этому, что сам прогноз, став ориентиром для политиков и фактом массового сознания, превращается вместе с тем в известной степени и в фактор формирования будущей реальности, то становится совершенно очевидным, что трудности полной демифологизации в процессе социального моделирования будущего возводятся едва ли не в квадрат.

Гораздо сложнее, а во многих отношениях принципиально иначе, чем в науке, обстоит дело с демифологизацией массового сознания.

1. Потребности в ценностях, в вере (совсем не обязательно — религиозной), “потребность смысла жизни”, как показывают специальные исследования, есть одна из фундаментальных

потребностей человека. Человеческую психологию невозможно свести к ее рациональному началу. Ценности, а тем более вера, не могут быть целиком выведены из разума, не говоря уже о рассудке. Поэтому где вера, там почти всегда и миф. Сказанное относится не только к индивидуальной психологии, но и к психологии общественной. Лозунг 1996 г. “Выбирай сердцем!” при всей его уязвимости для рациональной критики (явно напрашивается сравнение с тертуллиановой формулой: “Верую, потому что абсурдно!”) на самом деле свидетельствовал о высокой квалификации предложивших его специалистов по избирательным технологиям: определенно, они постигли природу массового сознания и его типологические особенности применительно к данной исторической ситуации.

В этой связи заслуживает специального рассмотрения гипотеза К. Мангейма (Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление.— М.: 1991.— С. 113—169). С самого начала определив утопию как “то сознание, которое не находится в соответствии с окружающим его бытием” (там же.— С. 113), автор отличает от нее идеологию как “те трансцендентные бытию представления, которые de facto никогда не достигают реализации своего содержания” (там же.— С. 115). Далее К. Мангейм подробно характеризует четыре основных, по его мнению, типа утопии, начиная от позднего средневековья до наших дней: хилястическую (оргиастическую), либеральную, консервативную и коммунистическо-социалистическую (там же.— С. 128—155). При этом констатируется следующая тенденция: “каждая конституировавшаяся на новой ступени развития утопия оказывается все более близкой социально-историческому процессу” (там же.— С. 159—160). И далее: “Мы приближаемся к той стадии, когда утопический элемент полностью (во всяком случае в политике) уничтожит себя в ходе борьбы своих различных форм. Если довести до логического конца существующие здесь тенденции, то пророчество Готфрида Келлера — “Последняя победа свободы будет прозаичной” — не может не обрести для нас зловещего звучания” (там же.— С. 159—160).

В этом пункте концепция Карла Мангейма перекликается с теорией возрастания рациональности исторического процесса Макса Вебера. Используя веберовскую терминологию, можно сказать, что оба автора видят в модернизации, развитии индустриального общества главную причину вытеснения в человеческой жизни традиционного, аффективного и ценностно-рационального типов социального действия типом целерациональным. Однако еще более интересно другое: несмотря на сходство позиций, Вебер, как и следует выдающемуся мыслителю, оказывается в этом смысле более глубок и более диалектичен, чем Мангейм. Несмотря на меньший исторический опыт, он убедительно показал, что свехрационализация социума приводит к его иррационализации (подробнее см.: Вебер М. Избранные произведения. М.: Прог-ресс, 1990.— С. 22—24). И здесь при совершенно иной методологии мы обнаруживаем неожиданное сходство со сторонниками психологического и даже психоаналитического подхода в социологии, которые так резко критиковал сам Вебер!

Так, уже упоминавшийся Карл Юнг полагал, что чрезмерное развитие разума в ущерб эмоциональной стороне человеческой жизни приводит лишь к тому, что темные воды бессознательного могут захлестнуть светильник разума (Руткевич А. М. К. Юнг об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии.— 1988.— № 1.— С. 127). Иначе говоря, попытка полной демифологизации массового сознания может вызвать еще большую его мифологизацию. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к гигантской литературе, посвященной воздействию на массовое сознание “массовой культуры” — этого неотъемлемого продукта современного индустриального общества (Г. Маркузе, Т. Адорно, Х. Шельски, не говоря уже об авторах антиутопий типа О. Хаксли, Р. Бредбери и др.), к бесконечным дискуссиям о том, становятся ли люди в информационном обществе более информированными или более дезинформированными, к вопросу о причинах роста популярности восточных верований и всякого рода мистических учений в свехрационализированном западном обществе и т. п. Заканчивая этот сюжет, позволю себе усомниться, что полная демифологизация массового сознания — реальная задача обозримого исторического периода.

2. Как уже говорилось, существуют типы исторических ситуаций, которые особенно активно порождают мифологизацию массового сознания и распространение социально-политических утопий. К их числу безусловно принадлежат ситуации “исторических переломов”, войны и конечно революции. Это признается не только противниками последних, но и их сторонниками. Процитируем хотя бы одного из “последних могикан” эпохи революционного социализма — Фиделя Кастро: “Революциям обычно свойственны периоды утопий, когда их участники, посвятившие свою жизнь благородной задаче, полагают, что исторические цели находятся гораздо ближе, чем в действительности, ибо воля, намерения людей всесильны и стоят выше требований объективной действительности” (цит. по: Правда.— 1975.— 20 декабря).

Данная характеристика революции как исторической ситуации напрямую связана с другими ее параметрами. Так, всеобщее некритическое отрицание прошлого, наряду с глубокой и почти универсальной аномией, стремительно разрушает прежние мифологемы и тем самым расчищает место для новых. Человек, оказавшийся в условиях катастрофы (и революционной катастрофы в том числе), как правило, стремительно переходит от отчаяния к надежде и обратно, причем надеяться нередко приходится лишь на чудесные, фантастические варианты спасения, что создает благодатную почву для новых мифов. Ощущение социальной бифуркации (переломного момента истории) рождает массовую тягу к конструированию будущего, огромное количество проектов желаемого общественного устройства, в большинстве своем утопических. В свою очередь присущие революции как празднику чувства свободы, оптимизма и социального творчества способны создавать иллюзорные представления о методах и сроках реализации этих идеальных проектов.

Мифологическое сознание революции как типа исторической ситуации характеризуется обычно целым набором параметров, как роднящих его с сознанием исторических ситуаций других типов, так и отличающих от него. В этом плане о предшественницах новейшей российской революции написаны тома и тома. Достаточно вспомнить цитировавшийся ранее до сих пор не потерявший своей глубины и стилистического блеска анализ Ф. Энгельсом главного исторического мифа Великой французской революции — мифа о государстве разума (Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд.-е. Т. 19.— С. 192—193). Великая российская революция 1917—1921 гг. до сих пор ждет своих глубоких исследователей и блестящих стилистов (псевдокоммунистические панегирики и антикоммунистические проклятия не в счет). Аналитические этюды конца 80-х гг. могли бы быть плодотворны, когда бы не были так редки (Мифы нашей революции // Литературная газета.— 1990.— № 10, 11, 12, 13). Новые серьезные исследования стали появляться лишь во второй половине 90-х гг., однако и они, как правило, дискуссионны по методологии и не рассматривают проблему специально. Вот лишь один любопытный фрагмент из подобной работы.

“Триумфаторская мифология победившей революции была впечатляющей. В центре ее символики оказался залп “Авроры”, как бы отрезавший путь в прошлое и возвестивший “начало новой эры” для всего человечества. Этот образ оставался притягательным до тех пор, пока утомленные ожиданием “наследники дела Октября” не созрели для усвоения новой легенды. Понятно, что она должна была начаться с дискредитации революционности” (Булдаков В. П. Имперство и российская революционность. (Критические заметки) // Отечественная история.— 1997.— № 1.— С. 43).

Поскольку историко-социологические экскурсы не являются специальной задачей данной работы, ограничимся характеристикой некоторых параметров революционно-мифологического сознания на примере новейшей российской революции.

А. Стремительное разрушение прежней мифологии и столь же стремительная замена ее новой, противоположной по содержанию. Тот факт, что в Советском Союзе, а затем в России псевдокоммунистические мифы с исключительной быстротой были заменены не “научным либерализмом”, но либеральной мифологией, признается почти всеми серьезными исследователями, включая теоретиков либерального направления (см., например: Кара-Мурза А. А., Панарин А. С., Пантин И. К. Духовно-идеологическая ситуация в современной России: перспективы развития // Полис.— 1995.— № 4.— С. 7). “... В середине 80-х годов,— вторит названным авторам И. М. Чудинова,— под воздействием “нового политического мышления” были развеяны мифы об антагонистических классовых противоречиях буржуазии и рабочего класса, мирового империализма и государственно организованного рабочего класса, о советском народе как носителе мира и прогресса, о нерушимой дружбе народов СССР, о социалистическом содружестве и превосходстве советской демократии. Однако исчезновение старых мифов не избавило нас от появления новых. Идеи общечеловеческих ценностей, их примата над национальными породили мифы о целостности мира и мировом содружестве, о советском империализме, абсолютной ценности прав и свобод человека, об универсальной ценности политического плюрализма” (Чудинова И. М. Политические мифы // Социально-политический журнал.— 1996.— № 6.— С. 122). Между прочим отметим еще раз, что массовое внедрение либеральных мифов в массовое сознание, наряду с другими факторами, обеспечило победу новейшей российской революции и во многом предопределило нынешнее состояние постсоветского общества.

Сказанное тем более верно, что в России в досоветский и советский периоды население привыкло со значительным доверием относиться к печатному слову. Автор этих строк сам неоднократно слышал диалоги между людьми разных поколений приблизительно следующего содержания.

Младший:

— Неужели Вы этому верите?

Старший:

— Конечно. Это же написано в “Правде”...

Младший:

— Но ведь это реклама..!

Когда же после брежневско-черненко-вской бесцветницы и скуки страницы и экраны вдруг заполнились яркими критическими материалами, выполненными по принципу известной песни “И тут всю правду мы узнали про него...”, это произвело букваль-ный переворот в умах. То, что речь идет о замене одних мифов другими, поначалу было ясно немногим. Как и полагается по логике истории, слабые голоса кассандр были подвергнуты всеобщему проклятию и осмеянию.

Б. Обилие политических мифов. В знаменитом докладе на президиуме РАН от 11.02.92 г. “Социально-политическая ситуация в России”, розданном в свое время народным депутатам РФ и хранящемся в личном архиве автора, директор Института социально-политических исследований РАН Г. В. Осипов выделит 6 основных социально-политических мифов начала 90-х гг., которые “вступили в противоречие с основными закономерностями развития современных цивилизованных государств, с их основными нормами и принципами, выработанными в ходе многовековой социальной практики” (Осипов Г. В. Указ. доклад.— С. 9—10).

“Миф первый: о необходимости разрушения в государстве административно-приказной системы”.

“Миф второй: о верховенстве законов различных структурных единиц (городов, районов, областей, республик и т. д.) над законами структур, составными частями которых они являются”.

“Миф третий: о приоритете интересов наций, народов или автономий перед интересами и правами человека”.

“Миф четвертый: о приватизации как средстве создания изобилия предметов потребления”.

“Миф пятый: о возможности перехода к новым экономическим, политическим и социальным структурам без правового регулирования этого перехода”.

“Миф шестой: о русском империализме, об отождествлении Центра с Россией и, как реакция на это, провозглашение суверенитета и независимости всех республик, что, фактически, предопределило государственный распад СССР” (Осипов Г. В. Указ. доклад.— С. 9—10).

В статье “Мифы уходящего времени”, подготовленной позднее на основе доклада, Г. В. Осипов добавил к перечисленным еще 3 мифа:

“о демократии как самоцели и средстве решения всех проблем. Это наиболее опасный в практическом отношении миф”;

“обновленный “экономический детерминизм”, согласно которому “Рынок решает все”;

“о вхождении территории бывшего Союза в евро-американскую цивилизацию” (Социс.— 1992.— № 6.— С. 4—6).

Трудно удержаться и не привести еще два примера мифов новейшей российской революции, которые, как представляется, дополняют и даже уточняют одну из позиций цитированного выше доклада Г. В. Осипова. Имеется в виду миф о распаде “последней колониальной империи” и миф о “независимости России”.

Идеологический миф, согласно которому Советский Союз был последней колониальной империей, оказался настолько прочно “вбитым” в массовое сознание конца 80-х — начала 90-х гг., что им пользовались даже специалисты, прекрасно понимавшие, мягко говоря, условность такого представления. В то время автору этой книги не раз приходилось участвовать в бурных дискуссиях политиков и политологов. Участники дискуссий дружно называли Советский Союз империей (волью или неволью смешивая понятие империи как формы организации крупного государства с понятием колониальной империи), но вынуждены были постоянно оговариваться, что эта империя необычная: Россию очень трудно признать метрополией, ибо она отдавала немалую часть своего национального дохода другим республикам, а, по крайней мере, Украину, Белоруссию и Прибалтику невозможно признать колониями, ибо они имели более высокий уровень жизни, чем “метрополия”. Постоянно задаваемый мною вопрос: имеет ли в таком случае термин “последняя колониальная империя” хоть какой-нибудь смысл? — всегда оставался на подобных дискуссиях без ответа.

Никакой критики не выдерживал и другой вариант той же версии: будто все республики, включая Россию, были колониями некоего “Центра”. Он вообще сильно напоминал историю из гоголевской повести, в которой нос майора Ковалева совершал свои собственные похождения, независимо от хозяина. Ведь каждому добросовестному школьнику должно быть известно, что колониальной империи без метрополии не бывает и что метрополией в империи может быть только государство, но отнюдь не правительство или ведомство.

Люди, которые разрабатывали названный выше миф, много раз публично заявляли: как только ненавистный “коммунистический Центр” перестанет вмешиваться в дела республик и выведет свои войска, все национальные проблемы решатся сами собой, повсюду воцарятся мир и благодать; рынок автоматически наладит экономические связи, и все бывшие части “империи” (прежде всего Россия) пойдут вперед семимильными шагами.

На самом деле и Центр (т. е. Горбачев) давно уже не был коммунистическим, и прогнозы эти подтвердились с точностью “до наоборот”. В другой стране и в другое время это, скорее всего, означало бы полный крах политической и научной карьеры, признание полной профессиональной несостоятельности такого рода специалистов. Но в революционной России 90-х гг. авторы провалившихся прогнозов продолжали и продолжают считаться авторитетами в области политики, межнациональных отношений, их назначали и назначают на высокие посты в министерствах, на должности советников Президента и т. п.

В действительности Советский Союз представлял собой не колониальную империю, а много- и наднациональное государство, подобно тому, как разные варианты таких государств представляют собой США, Великобритания и Индия. Версия же распада “последней колониальной империи” осталась свидетельством не столько недостатка квалификации, сколько избытка мифологизации сознания ее авторов, а может быть, и их беспринципности.

Однако вершиной новейшего российского революционного мифотворчества ни один из перечисленных выше мифов считаться не может. Бесспорным претендентом № 1 на эту роль должен быть признан миф о “независимости России”. В одном из предыдущих разделов уже говорилось о том, что автор этой книги принадлежал к числу очень немногих российских депутатов, не голосовавших 12 июня 1990 г. за государственный суверенитет России и верховенство ее законов над законами Советского Союза. Аналогичную позицию в отношении Беловежских соглашений официально, через голосование, выразить не удалось, поскольку вопрос рассматривался только Верховным Советом, а не Съездом народных депутатов России. Мифологический характер идеи “независимости России” от Советского Союза был очевиден уже в то время, и доказательством тому может служить очередной отрывок из уже не раз цитировавшейся статьи, основная аргументация которой несколько не устарела, несмотря на ее публицистический характер.

“Вообще-то создание новых мифов в революционную эпоху — вещь столь же обычная, как и разрушение старых, но здесь мы имеем дело с мифом уникальным по своей нелепости и претенциозности. В самом деле, каким самомнением должны обладать политические лидеры, чтобы всерьез заявить, будто только они дали независимость государству, существовавшему более тысячи лет! Какое “помутнение умов” долж-но произойти в обществе, чтобы оно поверило таким заявлениям! Если Россия получила независимость, то спрашивается, от кого? Говорят, от горбачевского руководства. Но разве это руководство было немецким или китайским? И как быть с тем, что именно это руководство обвиняли в “русификаторстве”, “русском империализме”, “оккупантстве” чуть ли не все новые республиканские лидеры, кроме команды Бориса Ельцина?

Не менее нелепо выглядит версия независимости России от Украины, с которой она воссоединилась в результате Переяславской Рады, от Грузии, которая вошла в состав Российского государства по Георгиевскому трактату, равно как от Средней Азии или Прибалтики, которые были Россией завоеваны.

От чего на самом деле стала “независимой” Россия, так это от целого ряда исторически принадлежавших ей территорий, от 25 миллионов наших соотечественников, превратившихся в иностранцев, от стратегического паритета, от космодрома “Байконур” и Черноморского флота и т. д. и т. п. Кому только на пользу такая “независимость”?

Впрочем, на последний вопрос ответить несложно: на пользу новой номенклатуре, точнее сказать, второму эшелону прежней бюрократической элиты, который ныне пришел к власти. Сменив статус среднеразвитой по мировым показателям державы на положение “Верхней Вольты без ракет”, мы оказались впереди планеты всей по количеству президентов и иных высокопоставленных должностных лиц на душу населения. Избавившись от своего прежнего начальства союзного уровня, они получили возможность пользоваться привилегиями, ездить за границу, представлять страну в Организации Объединенных Наций, быть в центре внимания и т. д. и т. п. и пр. От одного московского водителя я как-то услышал про 12 июня: “Это праздник Ельцина”. И действительно “День независимости России” — это день независимости российской номенклатуры от номенклатуры союзной. Именно перед ней, российской номенклатурой, этот день открыл блестящие перспективы. В этом сугубо практическом интересе, а не в недостатке квалификации и состоит причина поразительной слепоты ее аналитиков. Допускаю, что некоторые из них не лицемерили, а были

искренни, обещая, что после разрушения Союза мы заживем “долго и счастливо”: просто свое собственное “светлое будущее” они принимали за наше общее. В истории вообще, а в революционные эпохи — в особенности, любая правящая группа стремится представить свой интерес как общенародный, и обычно ей это удается” (Смолин О. Н. Куда несет нас рок событий? // Иртыш. Альманах Омской писательской организации Союза писателей РФ.— Омск.— 1992.— № 2.— С. 16—17).

Продолжая тему, следует согласиться с замечанием И. М. Чудиновой о том, что, “опираясь на миф о преобразовании русского патриотизма в антиимперский патриотизм, Б. Ельцин по существу привел к победе России — РСФСР над Россией — СССР” (Чудинова И. М. Политические мифы // Социально-политический журнал.— 1996.— № 6.— С. 126—127). Однако ее рассуждения о положительной роли этого мифа (там же) более чем уязвимы для критики, ибо “победа” малой России над Россией большой не только стала мощнейшим фактором экономического кризиса, не просто разделила русскую нацию искусственными государственными границами, но означала вместе с тем и “победу” России — РСФСР над самой собой, создав реальную угрозу и ее разрушения. Ко времени выхода статьи И. М. Чудиновой события на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне это уже убедительно доказали. Не случайно в середине 90-х гг. активные сторонники и даже участники Беловежских соглашений охотно запускали в политический оборот известную формулу “Кто не сожалел о распаде Советского Союза — у того нет сердца; кто не мечтает о его воссоздании — у того нет ума”. Если эта формула станет предметом специального анализа, политический психолог наверняка найдет в ней не только свидетельство самоотпущения “грехов” и сожаления о содеянном, но и косвенные доказательства того, что результаты действий “беловежских пущистов” резко разошлись с их намерениями и “декабристы образца 1991 г.” сами отчасти стали жертвой собственного политического мифа.

Разумеется, некоторые из этих положений могут быть предметом научной и политической дискуссии. Так, самым опасным в практическом отношении среди перечисленных Г. В. Осиповым являлся, видимо, не “демократический” миф, от которого вскоре отказались в пользу полуавторитарных методов, но миф “приватизационный”. Именно обвальная приватизация породила систему криминально-олигархического капитализма, сформировавшуюся “на выходе” процесса новейшей российской революции. Точно так же новый “экономический детерминизм”, на взгляд автора этой книги, должен быть выражен не столько формулой “Рынок решает все” (ибо рынок совместим с самыми различными типами социальных систем), сколько принципом мгновенной замены “священной частной собственности” собственности “ничейной” (государственной) в качестве главного условия достижения в кратчайшие сроки нового “светлого будущего”. Именно здесь наиболее ярко проявляется уже отмеченный выше парадокс использования примитивными антикоммунистами против примитивных коммунистов вывернутого наизнанку принципа... самого же примитивного коммунизма: главное — сменить собственность, а остальное приложится. Можно, наконец, без труда умножить перечень новых политических мифов, данный Г. В. Осиповым. Нельзя лишь не отдать автору должное за то, что в начале 90-х гг. он осмелился назвать мифами постулаты, признанные тогда властью и абсолютным большинством “критически мыслящих личностей” едва ли не абсолютными истинами!

В. Крайняя поляризация системы политических мифов и их упрощение. Поскольку любая революция представляет собой всеобщий конфликт, доведение до логического конца противоречий между общественными группами, вполне естественно, что вместе с поляризацией интересов и обострением политической борьбы резко противопоставляются друг другу политические мифы, отражающие интересы названных выше общественных групп. Чаще всего господствующему мифу революционеров о “светлом будущем” противостоит миф консерваторов о не менее “светлом прошлом”. Так, в России 90-х гг. после провала попыток реализации либеральных мифов реанимированы, хотя и остаются принадлежностью политических маргиналов, мифы о Сталине: портреты генералиссимуса все чаще появляются над колоннами демонстрантов, а первые ордена Сталина уже вручены леворадикальным политикам. С другой стороны, сама идеологическая поляризация, равно как и выход на политическую арену широких слоев народа, почти неминуемо ведет к упрощению лозунгов борьбы и их мифологизации. В этой связи, безусловно, заслуживает не только внимания, но и переосмысления то, что Горький в свое время писал о Ленине, а именно Ленин владел искусством упрощать сложнейшие политические проблемы, что необходимо капитану такого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия (Горький А. М. В. И. Ленин.— М.: Политиздат, 1980.— С. 24, 46).

А. М. Горький справедливо подметил социокультурный фактор политических упрощений —

крестьянский состав населения России. Однако еще более важным представляется фактор ситуационный. Предельная упрощенность политических лозунгов, в том числе и мифологизированных— феномен едва ли не любой политической революции. Через 70 лет после того, как Горький сделал свои наблюдения, Россия уже не была страной крестьянской, да и встречали народных депутатов России на пути в Кремль москвичи явно некрестьянского вида. Однако лозунг, который они скандировали: “Землю — народу в частную собственность!”,— по своей упрощенности явно был того же порядка, что и “Грабь награбленное”, а в плане пренебрежения всеми существующими законами логики намного его превосходил.

Г. Значительная доля утопий и антиутопий в составе политических мифов. Оставив культурологам анализ соотношения мифа и утопии как феноменов культуры и ограничившись политико-философскими и политологическими аспектами проблемы, легко заметить, что политический миф по отношению к политической утопии представляет собой понятие родовое, тогда как политическая утопия — один из видов политического мифа. По сравнению с объемом понятия “политическая утопия” объем понятия “политический миф” значительно шире. Политическая утопия — это такой вид политического мифа, который отличается от прочих, по крайней мере, тремя признаками.

Во-первых, это объект отражения. Любая утопия по определению (не случайно в переводе этот термин обозначает несуществующее место), представляет собой мыслительную конструкцию, отражение не существующей, но желаемой системы общественных отношений, тогда как политический миф, наряду с этим, может отражать в специфической (фантастической) форме и объекты вполне реальные.

Во-вторых, это полнота конструкции: социальная и политическая утопии охватывают обычно целую систему представлений, выраженную в логически или художественно законченной форме, тогда как миф вместе с тем может быть отражением определенной стороны, элемента, ракурса этой системы. Поэтому всякая социальная и (или) политическая утопия, пока она не реализована, есть миф, но отнюдь не всякий политический миф может быть назван утопией.

Наконец, в-третьих (и этот признак в интересующем нас аспекте наиболее важен и наиболее дискуссионен), отличительный признак социально-политических утопий от прочих политических мифов состоит в том, что, по крайней мере, в революционные и иные переломные моменты истории они непосредственно побуждают людей к действию. Подобная интерпретация исторической роли социально-политических утопий — не плод свободного творчества автора этих строк. Ее предлагали и предлагают многие специалисты, пишущие на эту тему. Не случайно и весьма удачно сказано, что “утопия — это предшественница проекта”, а “построение утопий — прапроектирование” (Алексеев Н. Г. *Философия образования и технология образования (Философия образования: состояние, проблемы и перспективы (материалы заочного “круглого стола”)* // *Вопросы философии.*— 1995.— № 11.— С. 16).

Аналогичным образом в уже анализировавшейся работе Карл Мангейм видит отличие идеологий от утопий в том, что “своим противодействием им” (утопиям) “удаётся преобразовать существующую историческую действительность, приблизив ее к своим представлениям” (Мангейм К. *Идеология и утопия* // *Утопия и утопическое мышление.*— М.: 1991.— С. 116). “Можно пойти дальше и с достаточным основанием утверждать,— продолжает он,— что существенной чертой самой структурной формы современного становления является то, что постепенно активизирующиеся социальные слои лишь потому оказались в состоянии совершать действия, преобразующие историческую реальность, что они в каждом конкретном случае связывали их с той или иной формой утопии” (там же.— С. 125).

В предыдущих разделах настоящей главы уже не раз отмечалось, что не только массы, но и политические элиты, действуя исключительно на основе рациональных мотивов, скорее всего не смогли бы свершить, а возможно, и не решились бы начать революционное действие. Хотя революционеры разных эпох и народов на разные лады повторяли, что кровь тысяч — ничто по сравнению со страданиями миллионов, будь они наперед способны с точностью рассчитать глубину катастрофы, размах насилия и непосредственные результаты собственного исторического деяния, как правило, противоположные первоначальным лозунгам, далеко не каждый решился бы требовать перехода от оружия критики к критике оружием. И здесь на помощь революционерам, а может быть и истории, приходит утопия. Поистине к революционной эпохе, как к ни какой другой, применим известный афоризм: надо быть зрячим, чтобы знать; надо быть слепым, чтобы делать!

В этой связи вызывает возражения следующее обобщение М. Ласки: “Все утописты — революционеры (хотя не все революционеры — утописты)” (Ласки М. *Утопия и революция* // *Утопия и*

утопическое мышление.— М.: Прогресс, 1991.— С. 183). Хотя по логике цитируемого автора революционером является любой, стремящийся выйти за пределы существующей системы, на самом деле, во-первых, это можно сделать не только революционными, но и реформистскими средствами, а во-вторых, трудно представить себе революционера, не мечтающего об идеальном будущем. Поэтому ближе к истине было бы прямо обратное утверждение: все революционеры — в какой-то мере утописты, хотя отнюдь не все утописты — революционеры.

В истории новейшей российской революции отдельные группы мифов также формировались в целостные социально-политические утопии от “гуманного демократического социализма” через короткий период “рыночного социализма” к “рынку как таковому”, к “рыночной системе”. Возможна и прямо обратная интерпретация: отдельные социально-политические мифы представляют собой лишь искусственно вычлененные части целостной утопии. Как бы ни относиться к современной рыночной экономике, совершенно очевидно, что в России начала 90-х гг. она выступила не в своей реально существующей форме, но в форме утопии. Об этом свидетельствуют, как минимум, три обстоятельства.

Во-первых, она была представлена в предельно упрощенном виде, характерном, скорее, не для конца XX в., а для первой половины XIX в., когда рынок действительно был чуть ли не единственным регулятором экономики.

Во-вторых, все многообразие вариантов рыночной экономики было сведено к единственной модели — американской, заменившей коммунизм в качестве идеальной общественной системы, тогда как на деле историческому опыту и российской ментальности значительно ближе модели европейские.

В-третьих, опозитизированы и восхваляемы оказались не только реальные достоинства рыночной экономики, но и ее общепризнанные пороки (безработица, высокое социальное неравенство, давление на политические элиты “большого бизнеса” и т. п.).

Д. Отсюда следует вывод, казалось бы, совершенно неуместный для сторонника социально-экономического детерминизма, каким считает себя автор, а именно: полное освобождение массового сознания от социально-политических мифов вообще и утопий — в особенности не только не всегда возможно, но и не всегда необходимо, а иногда — вредно!

Социально-антропологическую аргументацию аналогичной точки зрения мы находим опять-таки у Карла Мангейма, который, заметно противореча собственным выводам об исчезновении утопического начала из жизни современного человека, следующим образом подводит итоги своим размышлениям над интересующей нас проблемой. “... Полное исчезновение утопии привело бы к изменению всей природы человека и всего развития человечества. Исчезновение утопии создаст статичную вещь, в которой человек и сам превратится в вещь. Мы окажемся тогда перед величайшим парадоксом, когда человек, достигший самого рационального господства над средой, станет человеком, движимым инстинктом; когда человек после столь долгого, полного жертв и героизма развития, поднявшись, наконец, на высшую ступень сознания — где история перестает быть для него слепой судьбой и он сам становится ее творцом, — вместе с исчезновением всех возможных форм утопии утратит волю к созданию истории и способность понимать ее” (Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление.— М.: 1991.— С. 169).

Переходя от социальной антропологии к философии политики, в реальной истории и политическом процессе необходимо различать, как минимум, следующие виды утопий:

утопии продуктивные (прокладывающие дорогу к прогрессу гуманизма и свободы) и контрпродуктивные (ведущие общество к деградации);

утопии абсолютные (нереализуемые в принципе) и относительные (нереализуемые при данных условиях и представляющие собой, по выражению Ламартина, “преждевременные истины” (см.: Санистебан Л. С. Основы политической науки.— М.: МП “Владан”, 1992.— С. 101).

Разумеется, на практике различение названных видов утопий представляется чрезвычайно сложным. Как правило, более или менее объективная оценка оказывается возможной лишь по прошествии значительного времени, да и тогда она остается предметом научной дискуссии и в еще большей степени — идейной борьбы. Однако трудно оспаривать тот факт, что в эпохи нового и новейшего времени каждая великая революция определенного типа выдвигала вместе с тем и великую идею — относительную продуктивную утопию, воодушевлявшую сторонников на сверхчеловеческие упорство, терпение, усилия и поступки, поражавшие, восхищавшие и ужасавшие современников и потомков. И хотя непосредственные результаты революции, как правило, разочаровывали, со временем новая общественная система несколько приближала человечество к социальным идеалам, зафиксированным в утопии, которая многим не только дореволюционным, но и постреволюционным мыслителям представлялась абсолютной. “Ориентация на максимальные

результаты... может оказаться при определенных условиях заведомо неосуществимой, но в том и смысл, как мы знаем, идеализации целей — в приближении, хотя бы относительном, частичном, неполном к полным воплощениям” (Кравченко И. И. Рациональное и иррациональное в политике (Утопические аспекты политического сознания) // Вопросы философии.— 1996.— № 3.— С. 4).

Утопичность революционного сознания выражается, как известно, в представлениях не только об идеальном будущем, но и об идеально коротких сроках его пришествия. Быть может, никто из художников в столь гротескной форме не отразил эту особенность психологии революционной эпохи, как Андрей Платонов. Прочитаем для примера хотя бы его Александра Дванова: “Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов! А я смотрю: чего я тоскую? Это я по социализму скучал” (Платонов А. Чевенгур.— М., 1990.— С. 120).

В иных, неревolutionных, а тем более в контрреволюционных исторических ситуациях подобная психология вызывает лишь насмешки. Однако, критикуя утопии, нельзя не видеть одного чрезвычайно важного обстоятельства: иллюзии форсированного развития отражают не что иное, как реальное ускорение исторического времени.

В свое время Ленин был прав, когда утверждал, что с точки зрения динамики общественного сознания день революции может быть важнее годов спокойного, мирного развития (Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-ое изд-е. Т. 30.— С. 312). В справедливости такого утверждения может легко убедиться каждый, сравнив, например, Францию 1789 г. и 1804 г., Россию 1917 г. и Советский Союз 1932 г., Советский Союз 1985 г. и Россию 1999 г. и т. п. Во всех случаях постреволюционная страна окажется совершенно иной, чем предреволюционная. В некоторых случаях можно спорить о том, куда бешено спешили исторические часы — вперед или назад, как вообще спорят о направленности стрелы исторического времени. Но невозможно оспаривать, что это историческое время не ползло, не шло и даже не бежало, а летело. Более того, утопическое сознание не только отражало, но и подгоняло историческое время в качестве одного из факторов его ускорения. Разумеется, при этом можно и в конец загнать “клячу истории” — этой знаменитой фразой поэт сказал больше и не совсем то, что хотел! — но вряд ли можно отрицать, что великие и в большинстве своем утопические цели, наряду с факторами, проанализированными выше, рождали у многих ощущение праздника и энергию, неведомую в обычное время.

В этом отношении новейшая российская революция 90-х гг. явно проигрывает ее великим предшественницам. В свое время на это обратил внимание скульптор Эрнст Неизвестный, указавший на то, что рынок сам по себе не может быть вдохновляющей национальной идеологией, и закончивший свою статью в популярном журнале странным с виду пожеланием к революционерам новейшей формации и их сторонникам: “Хорошего Вам мифа, господа!” Пожелание, увы, осталось нереализованным: “великой идеи”, относительной продуктивной утопии новейшая российская революция так и не создала. Быть может, и по этой причине вновь запущенная в российский телеэфир заставка “Время — вперед!” на фоне гигантских, почти остановившихся заводов звучит скорее как невольная ностальгия по прошлому, чем как символ ускоренного исторического прогресса...

Образование. Революция. Закон... М., 1999

ГЛАВА XI. СМЕНА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ КАК ЗАКОН РЕВОЛЮЦИИ

Едва ли не единственным, однако серьезным аргументом против тезиса о том, что в России произошла очередная революция, является ссылка на мнение видных политологов, согласно которому смена политических элит представляет собой основной закон революции. Действительно, так полагали не только классики зарубежной политологии, но и известные отечественные ученые (о процессах формирования и циркуляции элит см., например: Моска Г. Правящий класс // Социс.— 1994.— № 10.— С. 187—198). В России же, как полагают сторонники рассматриваемой концепции, прежняя политическая элита не только не сошла со сцены, но, напротив, упрочила свои позиции. Поэтому говорить о революции в России некорректно, более точным является тезис о “реформе” или, как некоторые предпочитают, о “реформации”.

Не подвергая сомнению представление о смене политических элит как закономерности революции, хотелось бы заметить, во-первых, что формы проявления этой закономерности бывают весьма различными и зависят среди прочего от меры радикальности революционного отрицания. Если, например, во Франции в конце XVIII в. большая часть аристократии была либо уничтожена, либо

оказалась в эмиграции, то в Англии второй половины XVII в. устраненной (физически или от власти) оказалась лишь часть прежней аристократической элиты, тогда как другая “потеснилась” и дала место выходцам из новых буржуазных слоев. Даже такая радикальная революция, как российская 1917 г., несмотря на гражданскую войну и массовую эмиграцию представителей прежних “верхов”, отнюдь не привела к их полному устранению из властных структур. По оценкам В. Т. Ермакова, уже к весне 1919 г. пятая часть российского генералитета перешла на службу в Советской Армии, к концу гражданской войны — половина, а к 1923 г. — более 80 процентов. В конце 20-х гг. около 80% руководителей промышленности и около 100% ученых Академии наук занимали аналогичные должности в дореволюционной России (Ермаков В. Т. Исторический опыт культурной революции в СССР.— М.: Мысль, 1968.— С. 65—66).

В этом смысле новейшая российская революция не так уж и отличается от своих предшественников. Правда, если в Англии в XVII в. с новыми бизнесменами разделила власть старая аристократия, то в России конца XX в.— старая бюрократия. При этом в отличие от западных коллег представители новейшего российского бизнеса не довольствуются тем, чтобы отправлять в парламент или правительство своих представителей в лице юристов, политиков, менеджеров. Многие из них хотят представлять себя сами (Б. А. Березовский, В. В. Потанин и др.). Таким образом, если представители прежнего управленческого аппарата успешно обменяли власть на собственность, точнее, присоединили собственность к власти, то новые бизнесмены открыто стремятся получить власть в дополнение к уже приобретенной собственности.

Во-вторых, и главное. Кажущееся противоречие российского социально-политического процесса девяностых годов одному из основных законов революции разрешится очень легко, если учесть, что сама эта революция является бюрократической, по крайней мере, по главным движущим силам. Возможность такой революции была предсказана еще марксистской классикой. Не случайно В. И. Ленин в так называемом “Политическом завещании”, т. е. в статьях и письмах 1923 г., предлагал создать систему “защитных механизмов” от бюрократизации путем вовлечения в управленческую деятельность, наряду с партийно-политической элитой, представителей рабочих и крестьян (подробнее см.: Смолин О. Н. “Защитные механизмы” социалистической демократии // Коммунист.— 1988.— № 6.— С. 28—32). Как уже отмечалось, Л. Д. Троцкий и его сторонники полагали, что такой переворот в России произошел при Сталине, принимая за термидор (в смысле контрреволюции) то, что скорее было вторым изданием якобинской диктатуры. К сходным выводам, но с противоположных идеологических позиций пришли авторы теории “революции управляющих”.

Сценарии подобного рода хорошо известны из истории стран Азии и Африки, избравших в свое время путь “социалистической ориентации”, и неоднократно описывались в советской литературе. При отсутствии или ограничении демократии в таких странах происходили, с одной стороны, бюрократизация, а затем и перерождение правящих групп, а с другой — формирование нелегального или полулегального капитала, по преимуществу торгово-ростовщического характера. Обе эти группы срачивались между собой и совершали политический переворот (мирный или вооруженный — в данном случае неважно). Поскольку господствующие позиции в экономике при этом занимал не цивилизованный “производительный”, а бюрократический капитал, трудно привести хотя бы один пример страны, которая бы после такой революции добилась сколько-нибудь впечатляющих экономических успехов.

Аналогия с ситуацией в бывшем Советском Союзе вполне очевидна. Не случайно на возможность подобного развития событий в СССР на рубеже 80—90-х гг. указывали публицисты как левого, так и правого толка (впрочем, многие правые тогда не только назывались, но и действительно были левыми). Несколькими годами позднее, в начале 90-х гг., многочисленные экономисты и социологи, причем опять-таки самых разных направлений, констатировали, что за “командные высоты” в экономике борются в основном две силы: “бюрократы” и “теневики”.

Доказательства бюрократического характера новейшей российской революции содержатся в ответе на известный с древнеримских времен вопрос: кому выгодно? Главные из них состоят в следующем.

1. Численный рост управленческого аппарата. По оценкам специалистов, в Москве он вырос почти в три раза, в регионах — в полтора, два и более раза.

2. Улучшение положения управленцев по отношению к общественным группам, получающим доходы от трудовой деятельности, а во многих случаях — и по отношению к прежнему уровню их собственных доходов с учетом инфляции. Одновременно с этим — рост так называемых привилегий и затрат на обслуживание управленческого аппарата.

Так, согласно Указам Президента от 09.04.97 № 309 “О денежном вознаграждении лиц,

замещающих государственные должности Российской Федерации” и № 310 “О денежном содержании федеральных государственных служащих” установлены следующие размеры оплаты для некоторых должностных лиц (тысяч рублей в месяц): Президент Российской Федерации — 10000, председатель Правительства Российской Федерации — 8000, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — 7200, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации — 7200, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — 6500, федеральный министр — член Президиума Правительства Российской Федерации — 6300, федеральный министр — 6000, руководитель Администрации Президента Российской Федерации — 7500, управляющий делами Президента Российской Федерации — 7200, руководитель аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 6300, руководитель аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — 6300, руководитель аппарата Правительства Российской Федерации — 6300, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 6300, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации — 6300, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации — 6300, помощник Президента Российской Федерации — 5500. С тех пор заработные платы управленцев были проиндексированы дважды — сначала на 50, а затем еще на 20 %.

И хотя оплата труда российских должностных лиц по сравнению с их западными коллегами, занимающим аналогичные должности, в долларовом исчислении выглядит гораздо более низкой, ее кратность по отношению к средней заработной плате в стране в сравнении с советским периодом существенно выросла, а по отношению к доходам нижних социальных страт выросла многократно. Стоит отметить, что заработная плата выборных должностных лиц и чиновников в ряде субъектов Российской Федерации превышает установленные президентскими Указами размеры, а их реальные доходы во всех случаях превышают заработную плату за счет всевозможных надбавок и премий. Еще более важным фактором дифференциации доходов между управляющими и управляемыми является широко распространенное, хотя и запрещенное законом, совмещение государственной службы с предпринимательской деятельностью, доход от которой, как правило, значительно превышает заработную плату чиновников.

3. Предельное ослабление контроля над управленческим аппаратом как “сверху”, так и “снизу”. Как известно, сталинский режим при всем его тоталитаризме, а может быть благодаря ему, обеспечивал весьма жесткий контроль “сверху” над бюрократическим аппаратом. Как в свое время заметил один из публицистов, Сталин держал свой аппарат “в гончей, поджарой форме”. Вместе с тем элементы контроля “снизу” над определенными уровнями аппарата тоже сохранялись: альтернативные выборы первых секретарей райкомов и горкомов были нередкостью, случались и провалы кандидатур, предложенных более высокими партийными инстанциями. В более мягких режимах Хрущева и Брежнева, с одной стороны, ослаб административно-репрессивный контроль над аппаратом, а с другой, как это ни парадоксально, угасли почти все остатки демократии. Наступивший при Брежневе “золотой век” управленческой стабильности еще раз подтвердил правильность афоризма, согласно которому бесконтрольная власть развратит и святого, и во многом подготовил бюрократическую революцию.

Новейшая российская революция началась с требования покончить с бюрократией или, по крайней мере, поставить ее под контроль, но на самом деле остатки такого контроля ликвидировала. Уже I Съезд народных депутатов России упразднил Народный Контроль, а российская Конституция 1993 г. — контроль Парламента над исполнительной властью и контроль избирателей над депутатами Парламента. Перефразируя непопулярного ныне Маркса, можно сказать, что бюрократическая революция в России победила под возгласы объединенных “демократов” и “партократов”: “Долой бюрократию!”

4. Присвоение в процессе приватизации непропорционально большой (возможно даже большей) части бывшей государственной (“общенародной”) собственности. Вопреки активно формируемому публицистикой общественному мнению, именно этот процесс является решающим доказательством бюрократического характера новейшей отечественной революции и по значимости на порядок превосходит два процесса, названных выше.

В настоящее время ваучерную приватизацию и ее последствия не клеймит только ленивый. В этом отношении лексика лидера ... блока “Отечество” едва ли не превосходит жесткостью лексику лидера ... Народно-патриотического Союза России. Разработчики обвинительного заключения против Президента России используют этот аргумент, указывая на прямое нарушение Президентом в 1992 г.

российского Закона “О приватизации” и инкриминируя ему геноцид российского народа. И действительно, механизм ваучерной приватизации был запущен с грубыми нарушениями Закона. Однако и сам Закон, предполагавший введение именных приватизационных счетов, был, мягко говоря, далек от совершенства и стратегически привел бы к тем же результатам. Вот как оценивались автором ожидаемые результаты реализации Закона в статье, написанной в июне 1992 г., но устаревшей к моменту опубликования, поскольку к тому времени Президент уже “запустил” своим Указом ваучерную модель.

“Я имею в виду... российский Закон о приватизации. Его экономические минусы очевидны: раздав всем инвестиционные книжки на определенную сумму, дающие право на приобретение акций, придется выплачивать дивиденды по этим акциям “живыми” деньгами, а это подхлестнет и без того галопирующую инфляцию; превращение крупных предприятий в собственность огромного числа мелких акционеров, не способных к самоуправлению уже из-за своей многочисленности, сделает директоров и других хозяйственных руководителей по существу бесконтрольными хозяевами этой собственности.

Подобный раздел сам по себе никак не стимулирует экономическую эффективность и производительность труда и т. д., и т. п., и пр.

Спрашиваю одного из депутатов “Демократической России”: “Зачем вы приняли такой неграмотный Закон? Ведь была же у вас программа Шаталина с ее принципом: все продать! Конечно, программа явно несправедливая, но экономически более грамотная?” И слышу в ответ: “Конечно, программа Шаталина была лучше, но если бы мы стали все продавать, начались бы забастовки, а так все будут довольны, каждый получит свое, но акции все равно скоро окажутся в руках самых умных и предприимчивых”. Разумеется, он прав. Пенсионеры, домохозяйки, просто малообразованные люди, не знающие, что делать со свалившейся на них “бумажной” собственностью, а главное — бедные моментально распродадут свои инвестиционные книжки за “живые” деньги, которые в условиях “шоковой терапии” оказались уже не в избытке, а в дефиците.

Вообще история со всеобщим дележом государственной собственности чем дальше, тем больше напоминает мне старую сказку о лисе и медведях, которые делили сыр. В самом деле, внимательный читатель конечно не забыл, что еще руководство Ельцина—Силаева обещало выдать каждому инвестиционную книжку на 7—8 тысяч рублей. В период кампании по выборам Президента России называлась цифра и в 10 тысяч. За полгода “шоковой терапии” цены, по подсчетам Павла Бунича, выросли в 15 раз; по другим подсчетам — в 30. И что же? Президент Ельцин и глава Госкомимущества Чубайс по-прежнему обещают гражданам инвестиционные счета по 7—8 тысяч рублей, иначе говоря, на сумму, составляющую 3—6% прежних обещаний. А кому же достанутся 94—97% собственности, которой прежде собирались нас осчастливить? Ответ очевиден: криминально-бюрократическому капиталу” (см.: Смолин О. Куда несет нас рок событий? // Иртыш. Альманах Омской писательской организации Союза писателей РФ. Омск.— 1992.— № 2. — С. 13).

Что же касается собственно ваучерной приватизации, то этот план изначально оценивался автором как экономически бесполезный (что подтвердил последующий спад производства), социально вредный, поскольку должен был привести к скачкообразному росту неравенства, но политически почти гениальный. Политическая “почти-гениальность” плана заключалась в том, чтобы использовать примитивные стереотипы массовой психологии в духе “казарменного”, уравнилельного социализма для введения не менее примитивного “бандитского” капитализма, для замены уравниловки неконтролируемым социальным неравенством. Уверен, что авторы плана, повторявшие как заклинание, что России нужны не сотни миллионеров, а миллионы собственников, прекрасно понимали суть дела. Тем более ее сознавали противники ваучерной приватизации. Процитирую в этой связи отрывок из собственного выступления на VII Съезде народных депутатов России, которое в свое время под разными названиями обошло немало газетных страниц.

“Нам говорят, что проблему среднего класса решит ваучеризация. Но это либо иллюзия, либо обман. Бумага ценой в 10 тысяч рублей, на которую сейчас не купить и женских сапог, не сделает человека собственником. Напротив. Обладателям торгового капитала выгоднее приобрести предприятия на купленные по дешевке ваучеры пенсионеров, инвалидов, малограмотных людей, чем даже напрямую с аукциона.

Уважаемый Анатолий Борисович Чубайс говорил нам здесь странные вещи. С одной стороны, он утверждал, что народ не глупее депутатов и ваучеры продавать не станет. С другой же стороны, восторгался тем, что курс ваучеров на бирже растет. Конечно, Анатолий Борисович, народ не глупее не только депутатов, но и членов правительства тоже. (Аплодисменты.) Однако скажите, пожалуйста, чьи же ваучеры продаются на биржах, а также с лотков в обмен на сахар, а то и за пол-литра? Где

здесь логика? На мой взгляд, она здесь и не ночевала.

Ваучеризация — это голубая мечта Полиграфа Шарикова. Только он хотел все отнять, чтобы поделить, а нынешние шариковы наизнанку намерены все поделить, чтобы потом отнять. (*Смех. Аплодис-менты.*) (VII Съезд народных депутатов Российской Федерации. Стенографический отчет // Российская газета.— 1982.— 8 декабря. С. 6; 9 декабря.— С. 4).

В научной литературе, и особенно в публицистике либерального направления, бюрократический характер новейшей российской революции нередко представляется как отклонение от “генеральной линии”, “извращение” курса “истинных реформаторов” и т. п. При этом используемые формулировки по смыслу, а иногда почти текстуально повторяют все то, что говорили в свое время критики “бюрократических извращений” социализма. Подобный подход представляется крайне поверхностным, и чтобы показать это, прибегну еще раз к цитированию собственной работы, написанной в середине 1992 г. и опубликованной в начале 1993 г. под заголовком “Куда несет нас рок событий?” Соответствующий раздел работы имел характерное название, заимствованное у Б. Окуджавы: “И рай настанет не для нас...”

“Здесь я, рискуя вызвать гнев читателей, должен сказать несколько слов в апологию перекрашивающихся старых бюрократов (тоже ведь “твари божьи”). Их на чем свет критикуют сейчас и левые, и правые, причем со стороны правых подобная критика представляется мне противоестественной. Слов нет, с точки зрения моральных оценок все верно: грустно и смешно смотреть на людей, которые вчера клялись незамутненными идеалами коммунизма, а сегодня “рвут” в частные структуры, обгоняя порой даже лидеров “демороссов”. Но спрашивается: могло ли быть иначе? Если господа, пришедшие к власти, стремятся как можно быстрее создать себе социальную опору в лице крупных собственников, то кто же иной, кроме “теневиков” и “бюрократов”, может создать этот слой?

Читателю, который в этом сомневается, я рекомендую пойти на аукцион и купить магазин или, на худой конец, квартиру. Гарантирую, что для девяноста с лишним процентов этот “виноград” окажется “зелен”.

Уверен, никакого “либерального” капитализма у нас нет и быть не может. Сделав ставку на классическую частную собственность, новая власть, даже если она этого не хотела, обречена получить капитализм азиатского, бюрократического типа. У “теневиков” — деньги, у “бюрократов” — власть. Деньги хотят получить власть; власть имущие хотят денег. Несомненно и то, что именно бюрократы имеют опыт, связи, производственные и управленческие навыки, т. е. то, что необходимо собственнику. Кому же еще становиться новыми хозяевами жизни? Правда и то, что говорит убежденный “западник” Анатолий Стреляный: никакому народу не по силам взрастить две элиты; человек, который при административном социализме дослужился до секретаря райкома, при капитализме не может не процветать. И наконец, официальная пропаганда без усталости твердит нам, что только предприниматель — это “главный труженик”, “настоящий мужчина”, “единственная наша надежда”, “спасение России” и т. д., и т. п., и пр. Чего ж мы удивляемся, если люди, которые привыкли считать себя “солью Земли”, опорой общества, хотят и при новом режиме сохранить это положение.

Нет, превращение старых бюрократов в новых крупных собственников — это результат не их “порочной природы”, а главным образом, неверно выбранного курса. Господам, которые призывают заменить монополию государственной собственности монополией частной, надо не клеймить бюрократическую приватизацию, а радоваться, что есть люди, которые откликаются на их призывы. Надо быть детски наивным или беспредельно лживым, чтобы надеяться убедить кого-то, будто то, что позволено “быку”, не позволено “Юпитеру”. Думаю, это хорошо понимают и сами авторы газетных агиток.

Смысл же подобной пропаганды состоит лишь в том, чтобы посеять очередные иллюзии, будто результаты правительственного курса так плохи лишь потому, что его извращают бюрократы. На самом деле смена старых бюрократов при сохранении прежнего курса приведет лишь к замещению их “теневиками” и едва ли “новая редька” будет слаще” (см.: Смолин О. Н. Куда несет нас рок событий? // Иртыш. Альманах Омской писательской организации Союза писателей РФ. Омск.— 1992.— № 2.— С. 10—11). Бюрократическая форма новейших революций в России и республиках бывшего СССР, а также в меньшей степени ряде других стран Восточной Европы позволяет легко объяснить такой отмеченный Саквой феномен, как их “договорный характер” и связанную с ним легкость победы: во всех предшествующих революциях нового и новейшего времени экономически и политически доминировавшие общественные группы теряли, как минимум, часть власти и собственности, а иногда были обречены на исчезновение; в новейших же революциях производственная и (или) государственная бюрократия, которой в условиях “реального социализма” позволялось лишь

ограниченно использовать в своих целях государственную собственность, была “обречена” на то, чтобы эту собственность приватизировать, а тем самым умножить и власть. Вполне естественно, что “контрреволюционные” движения в таких условиях были крайне слабы, и не только потому, что социальные низы не понимали, что происходит, но и потому, что они испытывали острейших дефицит политических лидеров.

После всего сказанного без ответа все еще остается, по крайней мере, один важный вопрос: означает ли бюрократический характер новейшей отечественной революции, что закон смены элит в ней не действовал, и, следовательно, либо он не универсален, либо революции все-таки не было? Различные авторы, не всегда четко формулируя эту дилемму, дают тем не менее разные ответы на поставленный вопрос. Так, В. Белоцерковский полагает, что в России экономическая революция не сопровождалась политической. В его статье “Куда несет Россию?” читаем: “И более того, важно сознать — реформа носила революционный характер, закамуфлированный под названием “шоковой терапии”. Она была революцией, произведенной сверху. При том, что в политической сфере революции осуществлено не было. Номенклатура не была устранена от власти и повернула реформу в выгодную ей сторону, по сути, в обратную” (Белоцерковский В. Куда несет Россию? // Свободная мысль.— 1996.— № 6.— С. 26).

Еще дальше идет В. В. Навроцкий. Представив общественное устройство в виде формализованной системы, описываемой пятью обобщенными параметрами: составом, структурой, характером связей между элементами, гомеостатическим механизмом, типом экономики (см.: Навроцкий В. В. Коммунизм и посткоммунизм: опыт сравнительного анализа // Социально-политический журнал.— 1995.— № 5.— С. 202—203) —, автор стремится доказать, что “из пяти параметров системы изменились, причем далеко не кардинально, только два — гомеостатический механизм и тип экономики” (там же.— С. 208). Отсюда делается вывод, согласно которому современная Россия переживает не новое состояние систем, а, скорее, новый этап эволюции старой: “... пока нет оснований ассоциировать с посткоммунизмом новую социальную систему” (там же.— С. 208). Иначе говоря, автор полагает, что изменилась лишь форма общественного процесса, тогда как его содержание осталось прежним. В пользу этого вывода в качестве одного из решающих приводится уже хорошо знакомый нам аргумент: “Действительно, большая часть политической элиты переходит в экономическую элиту, получая капитал и собственность в обмен на политическую власть. Меньшая часть переходит в государственную бюрократию или снова возвращается на политический Олимп, хотя бы в качестве антикоммунистов... Номенклатура по-прежнему владеет средствами производства, хотя и несколько иным образом... Классический коммунизм оплачивал лояльность граждан определенными социальными гарантиями, посткоммунизм не затрудняет себя даже этим” (Навроцкий В. В. Коммунизм и посткоммунизм: опыт сравнительного анализа // Социально-политический журнал.— 1995.— № 5.— С. 206).

Напротив, Л. Ф. Шевцова, стремясь реализовать более объективный “многомерный” подход, утверждает, что советско-российская номенклатура выполнила тройную функцию. “Во-первых, они оказались реформаторами, ибо преобразовали старую систему мирным способом, сохраняя такой ее ключевой элемент, как самое себя. Во-вторых, они одновременно произвели революционные изменения, отодвинув от власти старых лидеров и прямо, безо всяких посреднических механизмов, соединив в своих руках власть и собственность, таким образом изменили основной принцип организации системы. В-третьих, они уже вскоре в своем большинстве превратились в консерваторов, начав препятствовать формированию гибких механизмов ротации и смены власти, появлению конкурирующих элит, а в ряде случаев возвращаясь к прежним способам властвования” (Шевцова Л. С. Дилеммы посткоммунистического общества // Полис.— 1996.— № 5.— С. 88).

Автору этих строк представляется, что, несмотря на бюрократический характер новейшей российской революции, закон смены политических элит и здесь имел место, но в своеобразной форме. В отсутствие контр-элиты смена выразилась в том, что первый эшелон политических лидеров был оттеснен вторым, союзная по-литическая элита — элитами республиканскими и т. п. Достаточно удачный образ новейшей российской революции в свое время был предложен Э. Лимоновым, назвавшем ее революцией замов и экспертов.

Именно это стремление второго эшелона государственной бюрократии избавиться от власти эшелона первого, стремление республиканских политических элит “освободиться” от элиты союзной, а не “заговор русофобских сил”, стало главным непосредственным фактором разрушения прежней государственности. Приведу мнение одного из главных участников этого процесса — мнение *post factum* самокритичное и по двум этим причинам заслуживающее доверия. “После августовских событий 1991 года в Москве центральная (союзная) власть стала распадаться буквально на глазах.

Лихорадочные усилия Михаила Горбачева, стремившегося оживить работу по заключению нового Союзного договора, встречая мощное противодействие республиканских “вождей”, породили губительный новоогаревский процесс. Он, в свою очередь, уже был готов произвести на свет свое детище — Союз Суверенных Государств (ССГ) — так назывался этот проект, явившийся прообразом Беловежских соглашений об СНГ. Я тогда подчеркивал, что это решение — плохое из наихудших, но делать было нечего.

Союзное правительство практически было ликвидировано, а вместо него образован Государственный комитет по управлению экономикой. Союзные республики были в то время буквально одержимы одной мыслью — получить как можно больше прав от умирающего союзного центра. Полагая, что тем самым автоматически будут решаться их обостряющиеся социально-экономические проблемы. Каждый из лидеров республик, собирающихся под председательством союзного Президента, исходил из аксиомы, что именно его республика “содержит весь Союз”. Такой подход был характерен и для руководства Российской Федерации — мы здесь не были исключением, а порою и задавали тон в дезинтеграционных процессах — это надо признать самокритично” (Хасбулатов Р. И. Великая российская трагедия. Т. 1.— М.: ТОО СИМС, 1994.— С. 5—6). Один из тех, кто ввел в научный оборот характеристику новейшей российской революции в качестве бюрократической, признал вместе с тем и тот факт, что лидером этой революции было российское руководство, включая и его самого.

Своеобразное проявление закона смены элит и бюрократическая форма новейшей российской революции, полузакрытый характер российской политической элиты, ее относительно невысокая мобильность периодически вызывают к жизни такой уникальный феномен, как ложные реставрации отношений советского периода. Так, весной 1995 г., в период, когда журналисты и политики подводили итоги десятилетию перестройки, как никогда в последние 10 лет обнаружилась тенденция правящей политической элиты вернуться к прежним общественным формам при новом их содержании, сочетая праволиберальный курс в экономике с государственно-идеологической, а то и левой фразеологией в политике и идеологии.

Действительно, люди, которые спустя 50 лет после советского наступления под Москвой, реализовали в Беловежской пуще одну из ключевых идей плана “Барбаросса” (раздел Советского Союза по национальному принципу) и к тому же несколько лет именовали противников этого раздела не иначе, как “красно-коричневыми”, с энтузиазмом взялись за организацию празднования 50-летия Победы над фашизмом. Едва ли не впервые за последние десять лет из уст премьера России прозвучала похвала Иосифу Сталину. Участники учредительного съезда блока “Наш дом — Россия”, как сообщали средства массовой информации, на всю страну публично заговорили о том, что многопартийность для страны — непозволительная роскошь и что нам хватило бы одной партии (разумеется, их собственной).

Основываясь на подобных фактах, теоретики разных направлений, в том числе упоминавшиеся выше, а также правые либералы и часть интеллигенции упорно стремились доказать, что в стране за десять лет ничего не изменилось: кто правил, тот и правит, разве что Политбюро стало называется Советом Безопасности, а имя “тайного советника вождя” стало явным (тогда он был известен еще в качестве начальника охраны Президента, а не автора книги “Борис Ельцин: от рассвета до заката”).

Увы, это результат или собственного заблуждения, или стремления ввести в заблуждение других. За 10 лет содержание общественных процессов в стране изменилось коренным образом: государственно-бюрократический социализм сменился государственным и еще более бюрократическим капитализмом. Стремление же властвующей элиты частично вернуться к прежним формам означало лишь одно: вчерашние ограниченные в правах распорядители собственности превратились в ее полновластных хозяев. И хотя при этом частью “пирога” пришлось поделиться с нуворишами, полученного достаточно для собственной спокойной жизни, а также для потомков на много поколений. Теперь революций больше не требуется, нужны стабильность и покой. А для этого более всего пригодна однопартийная система (de iure или de facto — вопрос отдельный), а в крайнем случае, и применение насилия. Впрочем, концепция бюрократической революции, следовательно, оказывается наиболее продуктивной и для объяснения подобных исторических казусов, не вписывающихся, казалось бы, в логику российской истории конца 80—90-х гг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги всему сказанному о новейшей российской революции можно суммировать в форме нескольких главных выводов.

1. Официальные оценки социально-политических процессов в современной России исходят из следующих постулатов:

в девяностых годах Россия переживает период реформ;

по характеру и перспективам эти реформы демократические;

избранный вариант реформ был единственно возможным, а реальной альтернативы ему не существовало (последний постулат подвергнут сомнению Правительством Е. Примакова, но не администрацией Президента).

Напротив, автор этой книги убежден в том, что приведенные постулаты представляют собой скелет новой социальной мифологии и изображают реальный процесс в искаженном, если не перевернутом виде. Гипотеза, положенная в основу исследования, состояла в том, что:

а) в России произошла новая революция;

б) по содержанию (направленности) эта революция является буржуазной, поскольку интенция ее состоит в восстановлении рыночной системы (что в данном случае равнозначно капитализму), причем не в современной “социальной”, но в крайне примитивной форме, включая дорыночные отношения (бартеризация экономики);

в) с точки зрения характера дореволюционной и постреволюционной системы, а также в значительной степени методов осуществления новейшая российская революция может быть признана революцией бюрократической;

г) с точки зрения господствующей формы капитала, порожденного революцией и ставшего ее двигателем — как компрадорская (в этой связи с поправками на российскую интерпретацию терминов заслуживает внимания характеристика постреволюционной российской политической системы в качестве “торговой демократии”);

д) по юридической форме, отношению к праву (включая право собственности), а также к моральным нормам (включая общечеловеческие), революция вполне заслуженно характеризуется как криминальная;

е) каждой из названных выше характеристик формы новейшей российской революции соответствует одна из трех ее главных движущих сил: бюрократия, компрадорская часть предпринимателей и криминалитет (персональный состав этих общественных групп в существенной части совпадает);

ж) на начальном этапе, как показали президентские выборы 1991 г., революцию поддержало значительное большинство населения России, хотя, как правило, и не сознавая ее последствий, в том числе такие общественные группы, как: работники средств массовой информации; деятели культуры; другие профессиональные отряды гуманитарной и технической интеллигенции; квалифицированные рабочие; в меньшей степени — крестьяне. По мере выявления результатов революции ее социальная и политическая базы сужались;

з) в эскалации новейшей российской революции бюрократические механизмы паразитическим образом сочетались с плебисцитарными по модели Макса Вебера, поскольку именно референдумы и прямые выборы стали главной формой легитимации власти обновленной политической элиты. Соответственно и сама эта революция может быть охарактеризована как плебисцитарная;

и) в революционные периоды истории всегда существуют социальные альтернативы, причем избранная российским руководством модель развития, с точки зрения ее социальных последствий, является одной из наиболее контрпродуктивных;

к) при действительном проведении реформ социально-политический сценарий развития мог бы быть принципиально иным, гораздо более благоприятным для страны и для народа.

2. Главным методом проверки авторской гипотезы о революционном характере общественно-политического развития России в 90-х гг. стал метод политико-ситуационного анализа. В соответствии с этим методом любая политическая революция нового и новейшего времени в качестве особой исторической ситуации обладает определенным набором признаков и может рассматриваться: как бифуркация; как катастрофа; как отрицание; как всеобщий конфликт; как аномия; как “праздник”; как фактор глобальной мифологизации массового сознания; как процесс смены элит и др. Ни один из этих признаков не является характерным исключительно для революции как исторической ситуации, но их система характеризует данный тип исторических ситуаций — и никакой другой. Специальное

исследование исторической ситуации в России 90-х гг. показывает, что она (ситуация) обладает полным набором названных выше признаков и, следовательно, представляет собой ситуацию революции. Гипотеза позволяет объяснить множество социально-политических феноменов, представляющихся парадоксальными или даже “противоестественными” в условиях нормального функционирования системы или ее эволюционного развития, в том числе в условиях экономических и политических реформ.

3. Если новейшую российскую революцию рассматривать в контексте той исторической эпохи, которую она завершила и которая начата революцией Октябрьской, приходится признать, что эта новейшая революция могла иметь один из двух главных результатов.

Во-первых, она могла стать реставрацией (хотя бы неполной) дооктябрьских общественных отношений и институтов, а поскольку наиболее развитые страны мира ушли далеко вперед, оказаться в этом случае революцией консервативной или реакционной.

Во-вторых, новейшая российская революция могла стать “термидором”, т. е. социально-политическим переворотом, не восстанавливающим дооктябрьские порядки, но исправляющим чрезмерные отклонения вектора общественного развития влево при сохранении основных завоеваний предшествующего периода. В этом случае такая революция действительно могла бы ввести Россию в так называемое “общецивилизационное русло”.

До настоящего времени в России явно преобладали не “термидорианские”, а реставрационные тенденции, что делает проблематичным обозримое будущее страны.

4. В отношении социально-политического переворота в СССР и других странах “реального социализма” на рубеже 80—90-х гг. марксова характеристика революций как локомотивов истории вряд ли выглядит более справедливой, чем представление А. Тойнби, согласно которому революция выступает симптомом упадка цивилизации и тормозом общественного развития. Революции конца XX в. подобны скорее бульдозеру, сбрасывающему с исторической дороги накопившиеся завалы, но вместе с тем и саму дорогу превращающему в сплошные ухабы.

5. Возможно, и сторонники, и часть противников революционного преобразования общества согласятся с позицией эсера В. Чернова, выраженной в следующих словах: “Оправдание революции — не в выигрыше времени и в экономии сил. Ее оправдание, высшее и бесспорное, в том, что она является единственным способом двинуться вперед там и тогда, где и когда упрямство командующих групп и классов пытается глухою стеною отстаивать мощное и неудержимое историческое движение” (цит. по: Социс.— 1997.— №2.— С. 31). Если принять эту исходную позицию, новейшая российская революция, в отличие от революций, скажем, 1917 г., оправданий не имеет. Не имеет, поскольку, во-первых, при реформистской модели развития цена преобразований наверняка оказалась бы на порядок ниже и поскольку, во-вторых, политическое руководство М. Горбачева не только не стояло на пути реформ, но, напротив, стремилось к их проведению, хотя и непоследовательно, зачастую без ясного плана и прогноза последствий.

6. Сторонники “теории заговора”, вероятно, увидят в этой книге попытку оправдания политических лидеров новейшей российской революции; приверженцы “радикальных рыночных реформ” — попытку несправедливого обвинения этих лидеров. Те и другие будут неправы. Разумеется, вынесение обвинительного приговора кому бы то ни было не входит в задачу этой книги. С другой стороны, автор никого не оправдывает, но лишь пытается понять более глубокие, чем индивидуальные “страсти”, причины, которые заставляли людей, частью искренне веривших, что сражаются во имя добра, творить зло.

Тем не менее, как минимум, одного оценочного суждения избежать невозможно. Высокопоставленные партийные и идеологические работники, члены ЦК КПСС, теоретики советского марксизма, крупные журналисты и т. п., ставшие лидерами “радикальных реформ”, а прежде закончившие высшие партийные школы или другие учебные заведения, считавшиеся “кузницами марксистских кадров”, обязаны были знать, что такое революция и каковы ее законы. Начиная борьбу за власть, они должны были предвидеть, что за этим последуют колоссальные разрушения, насилие, государственные перевороты и человеческая кровь. Незнание законов истории не освобождает политика от исторической ответственности подобно тому, как незнание закона вообще не освобождает любого гражданина от ответственности уголовной, административной или гражданской.

7. В последнее время политики различных направлений не раз повторяли, что Россия лимит на революции исчерпала. Другие, напротив, доказывают неизбежность и необходимость новой революции. Если иметь в виду историческую цену прежних революций, правые первые; исходя из существующей российской постреволюционной реальности ближе к истине могут оказаться вторые. Вот почему, выступая с прогнозами в различных аудиториях, автор регулярно оказывается в состоя-

нии внутриличностного межролевого конфликта: как политик и гражданин от души желаю своей стране, чтобы она обрела, наконец, стабильность, а проблемы и конфликты разрешались путем действительных реформ в интересах большинства народа; как специалист в области социогуманитарных наук с сожалением должен признать, что в ближайшей и среднесрочной перспективе книги, подобные этой, в Отечестве нашем своей актуальности не утратят.

* * *

Парадоксальность революционного мышления и действия уже многократно отмечалась в этой книге. Парадоксальной оказалась и судьба крылатой фразы, столь популярной в советскую эпоху: “Есть у революции начало — нет у революции конца!” Революция действительно продолжилась, однако вектор ее оказался прямо противоположным тому, который воспевал поэт. Да и близкие его сердцу идеалы Октября новейшая революция объявила ошибкой истории! Вот только по-настоящему воспеть новые идеалы до сих пор никому не удалось: или земля российская оскудела блоками и маяковскими? или, может быть, идеалы не вдохновляют?..